

***“Вино, осенней стужи друг”,  
или как возникает в тексте поэтический смысл***

*А. Л. НОВИКОВ,  
кандидат филологических наук*

У слова могут быть разные по своему характеру значения и употребления. Одни из них, прямые, номинативные, по терминологии В.В. Виноградова, непосредственно направлены на предметы и явления действительности: это “опора и общественно осознанный фундамент всех других его значений и применений” (Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977. С. 171). Такие номинативные значения вместе с производными от них обычно образуют в языке регулярные отношения, фиксируются в той или иной форме толковыми словарями и обнаруживаются в устной серии слов, например, со значением “вместилище – вместимое” (“содержащее – содержимое”): *стакан* граненый и выпить *стакан* минеральной воды, *тарелка* фарфоровая и съесть *тарелку* борща, *стол* письменный и *стол* обильный, праздничный, *аудитория* просторная, светлая и *аудитория* внимательная, территория *страны* и *страна* слушала речь Президента Российской Федерации и т.п.

Другие употребления слов, наоборот, не образуют регулярных отношений и не включаются в толковые словари. Они появляются в специфических условиях контекста как результат особого “применения”

слов, если пользоваться термином В.В. Виноградова. Возьмем для начала обычное высказывание: “*Новый ректор резко повысил успеваемость в этом семестре. Существительное ректор имеет здесь не обычное (узвальное, от. лат. usualis “общеупотребительный”) языковое значение “руководитель университета”, а актуальный внеязыковой смысл: “профессорско-преподавательский состав и студенты под руководством ректора”.* Разумеется, такого значения в словарях нет и быть не может, поскольку они толкуют прежде всего факты языка, а не возможные контекстуальные смыслы слов. По такой же причине современные словари русского языка не указывают значение слова *флаги* в таком их употреблении, как у А.С. Пушкина в “Медном всаднике”:

Природой здесь нам суждено  
В Европу прорубить окно,  
Ногою твердой стать при море.  
Сюда по новым им волнам  
Все флаги в гости будут к нам,  
И запируем на просторе.

Это индивидуальное авторское использование слова, которое, кстати, толкуется в “Словаре языка Пушкина” (Т. IV. С. 815): *метонимически о корабле, флоте, плавающем под этим флагом.* Для объяснения этого поэтического смысла необходимо восстановить цепочку причинно-следственных отношений типа *если А, то В* (импликаций) в отражении внеязыковой действительности: (корабельные) флаги > корабль > флот > государство, нация. Или в обратном порядке: государство, нация > флот > корабль > (корабельные) флаги. Нетрудно видеть, что в этой цепочке, где каждое предшествующее как часть включается в последующее или последующее включает в себя как часть предыдущее, меняется и сама внутренняя форма слова, т.е. способ его восприятия: от предметного представления полотнища до символа государства и наоборот.

Возникновение поэтического смысла слова всегда связано с модификацией его исходной внутренней формы как способа представления внеязыковой действительности (А.А. Потебня) и зиждется на этом. В отклонении от исходного представления слова и его преобразовании, необычности состоит суть семантического и эстетического “приращения” смысла. Мысль “сгущается”, вбирая в себя не все, а главное – сеть скрытых ассоциаций, воздействующих на читателя. Художественная экономия мысли, воплощенная в контекстуальном смысле образа (флаги – государство), позволяет достичь наибольшего эффекта в поэтическом изображении. Рассуждая о правилах риторики, Г. Спенсер высказал в свое время глубокую мысль: “Представить

идеи так, чтобы они могли быть понятны с возможно меньшим умственным усилием, составляет desideratum (лат. “желаемое, требуемое”, – А.Н.), к которому стремится большая часть вышеприведенных правил (...) Смотря на язык как на снаряд символов для проведения мысли, мы можем сказать, что, подобно механическому снаряду, чем проще и лучше устроены его части, тем сильнее будут и действия, производимые ими” (Спенсер Г. Философия слога // Опыты научные, политические и философские. Минск, 1999. С. 688). Сложное здесь образно объясняется через более простое, приближается к нам через нарочито выдвинутую деталь, имеющую символическое значение.

Итак, за пределами языковой регулярности оказываются употребления слов, значения которых выходят за грани обычного языка, становясь фактами актуального их использования (первый пример) или поэтического языка (второй пример).

Первый тип употребления слов важен для реализации коммуникативной функции языка, использования его как важнейшего средства общения, второй – для создания словесных поэтических образов в осуществлении его эстетической функции.

Поэтический образ, его неповторимый смысл рождается обычно не сразу, а опирается на известные языковые традиции, предпосылки употребления слов и их сочетаний.

Возьмем в качестве иллюстрации существительное *друг* и его смысловые трансформации в произведениях А.С. Пушкина.

“Словарь русского языка” С.И. Ожегова выделяет в этом слове следующие значения: “человек, который связан с кем-нибудь дружбой” (*Старый друг лучше новых двух*); “сторонник, защитник кого-чего-нибудь в конструкции с родительным падежом кого-чего-нибудь (*Друг детей, друг свободы*); “обращение к близкому человеку, а также доброжелательное обращение вообще” (*Друг мой! Помоги, друг!*). Современный язык унаследовал структуру значений этого слова, отразившуюся в словарях предпушкинской и пушкинской эпох. В “Словаре русского языка XVIII века” (Вып. 7. СПб., 1992. С. 13–14) с пометой *церк.-слав.* дается значение “каждый человек по отношению к другому; ближний”, а затем с выделением оттенков приводятся другие, актуальные для того времени значения: “тот, кто связан с кем-либо дружбой”, “обращение, приветствие к какому-либо лицу”, “защитник, покровитель или сторонник, приверженец кого-, чего-либо”. “Словарь Академии Российской” 1789–1794 годов выделяет первое из указанных выше значений (“в Св. Пис. значит то же, что: ближний”), а также “единодушный, искренний в щастии и нещастии товарищ, соединенный сходством нравов, а паче сходством правил честности”, “иногда употребляется вместо приветственного названия к равным и нижшим себя”. Конструктивно обусловленное значение (*друг кого, чего*) здесь отсутствует. По существу, те же значения отмечает и “Словарь церковно-

славянского и русского языка” 1847 года, вышедший уже после смерти А.С. Пушкина: *церк.* “ближний”, “привязанный к другому узами дружества”, “приветственное название равного и низшего себя”.

Как видно, слово *друг* в значении “ближний” было ограничено сферой церковного употребления, а в значении обращения – апеллятивной функцией со строго фиксированной семантикой.

Возможный простор для семантического расширения этого слова и предпосылки поэтического смыслообразования представляли два других значения: “человек, связанный с кем-то дружбой” и “сторонник, защитник кого-либо, приверженец чего-либо”. Именно эти значения стали доминирующими и в семантическом развитии существительного, и в формировании его образных смыслов. Именно они ярче всего выражали внутреннюю форму слова “близкий кому-то (чему-то) человек, тесно связанный с ним, а потому его защитник и сторонник”.

Существительное *друг* встречаем у А.С. Пушкина прежде всего в обычном номинативном значении: “Друзья мои! Прекрасен наш союз!”.

Онегин (вновь займуся им);  
Убив на поединке друга,  
Дожив без цели, без трудов  
До двадцати шести годов,  
Томясь в бездействии досуга  
Без службы, без жены, без дел,  
Ничем заняться не умел.

(“Евгений Онегин”. VIII, XII)

В других употреблениях этого слова контекстуальные условия приводят уже к смысловому сдвигу в его семантике (→ “возлюбленный”, “супруг”) или к его ироническому осмыслению, замене исходного значения на смысл, близкий к противоположному ему:

По сердцу я нашла бы друга,  
Была бы верная супруга  
И добродетельная мать.

(“Евгений Онегин”. III, XXXI)

Враги его, друзья его  
(Что, может быть, одно и то же)  
Его честили так и сяк.  
Врагов имеет в мире всяк,  
Но от друзей спаси нас, Боже!  
Уж эти мне друзья, друзья!  
Об них недаром вспомнил я.

(“Евгений Онегин”. IV, XVIII)

Контекстуальная внутренняя форма слова как основа восприятия его смысла в подобных употреблениях претерпевает изменение. Необходимо еще раз подчеркнуть, что художественный смысл связан, с одной стороны, с исходным значением и внутренней формой слова, а с другой, со знаниями, взятыми из самой действительности – реальной или эстетически моделируемой. Ведь именно знание всего текста трагедии А.С. Пушкина “Моцарт и Сальери” (коварства завистника Сальери, отравления им Моцарта) дает основание для восприятия производимого им обращения как противоположного по своему смыслу:

Друг Моцарт, эти слезы...  
 Не замечай их. Продолжай, спеши  
 Еще наполнить звуками мне душу...

Расширение поэтического словообразования у А.С. Пушкина происходит за счет нестандартного (не фиксируемого толковыми словарями) сближения человека и животного (например, коня), человека и предмета (скажем, вина):

В молчанье, рукой опершись на седло,  
 С коня он слезает угрюмый;  
 И верного друга прощальной рукой  
 И гладит и треплет по шее крутой.

(“Песнь о вещем Олеге”)

Вдовы Клико или Мозта  
 Благословенное вино  
 В бутылке мерзлой для поэта  
 На стол тотчас принесено (...)  
 Но изменяет пеной шумной  
 Оно желудку моему,  
 И я *Бордо* благоразумный  
 Уж нынче предпочел ему (...)  
 Да здравствует *Бордо*, наш друг!

(“Евгений Онегин”. IV, XLV–XLVI)

В поэтическом контексте это воспринимается как то, что любимое и к чему привычны, как к другу. Ср. у Н.М. Карамзина: “Не будет уже книг, (...) сих верных, милых друзей, которые доселе услаждали для нас печальную осень” (цит. по: “Словарь русского языка XVIII века”. Вып. 7. С. 13).

Но, пожалуй, наиболее распространенным и семантически разнообразным поэтическим словообразованием у существительного *друг* является его “применение”, опирающееся на конструктивно обусловленное значение: *друг чего*.

Характерно, что вторую позицию в этой конструкции занимает неодушевленное существительное с широкой смысловой гаммой – от обозначения абстрактного понятия до конкретного предмета:

Волшебный край! Там в стары годы,  
Сатиры смелый властелин,  
Блистал Фонвизин, друг свободы...

(“Евгений Онегин”. I, XVIII)

В послании “К Галичу”:

О, Галич, верный друг бокала  
И жирных утренних пиров,  
Тебя зовут, мудрец ленивый,  
Под отдаленный неги кров.

Контекстуальные смыслы здесь могут быть определены соответственно как “сторонник”, “покровитель” и “любитель” чего-нибудь.

Наиболее удаленным от исходного языкового значения слова *друг* и его внутренней формы (“человек, который связан с кем-нибудь дружбой”) следует признать контекстуальный смысл “кто-то или что-то неразрывно связанные с чем-нибудь”. Здесь предельно экономично подчеркивается необходимая по своей природе связь одного с другим, их смежность, нерасторжимость. А чем больше “семантическое расстояние” между контекстуальным смыслом, его воспринимаемым представлением и исходным значением в языке, тем содержательнее и ярче образ. Такова, например, у А.С. Пушкина органическая связь калмыков со степью, образно дополняющей их характеристику. Калмыки – жители степей: “между Волгой и Яиком, по необозримым степям астраханским и саратовским, кочевали мирные калмыки” (“История Пугачева”). Эта связь лежит в основе словесного образа *друг степей калмык* в стихотворении “Я памятник себе воздвиг нерукотворный...”.

Поэтическая конструкция *друг чего* достигает предельной смысловой выразительности, когда обе позиции конструкции (словосочетания) замещаются неодушевленными существительными. Их “дружба” предстает как необходимая или привычная связь (так теперь можно было бы определить контекстуальную внутреннюю форму слов):

Пылай, камин, в моей пустынной келье;  
А ты, вино, осенней стужи друг,  
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,  
Минутное забвенье горьких мук.

(“19 октября”)

В “Евгении Онегине” (IV, XLI) А.С. Пушкин создает замечательный словесный образ – *лучинка, зимних друг ночей*:

В избушке распевая, дева  
Прядет, и, зимних друг ночей,  
Трещит лучинка перед ней.

Он доведен до совершенства в своем избирательном, экономном, по Г. Спенсеру, символическом изображении картины деревенской жизни, нелегкого кропотливого труда крестьянской девушки, единственным и верным, как друг, спутником которой остается лучинка.

Тонкий узор этого образного употребления слов осознается на фоне других употреблений, в движении от обычного значения существительного *друг* к его контекстуальным поэтическим смыслам, в развитии системы их внутренних форм: *Ленский* – *друг Онегина* (“человек, находящийся в дружбе с кем-то”) → *Фонвизин* – *друг свободы* (“сторонник”, “защитник”) → *Галич* – *верный друг бокала* (“любитель”) *калмык* → *друг степей* (“человек, связанный с чем-то”) → *лучинка – зимних друг ночей* (“предмет, связанный с чем-то”). Последний поэтический смысл – самый далекий от исходного значения рассматриваемого слова и потому самый сильновоздействующий на читателя образ. Даже формальное родовое соотношение слов оказывается здесь несогласованным: *лучинка* (жен. р.) – *друг* (муж. р.). Идея человека и дружбы как таковой – здесь лишь мерцающий “просвет”, необходимый, однако, для восприятия художественного образа.





## Поэтическое слово у Ф.И. Тютчева и А.Н. Майкова

*П. А. ГАПОНЕНКО,  
кандидат филологических наук*

В одном из своих стихотворений (“На юбилей князя Петра Андреевича Вяземского”) Ф.И. Тютчев заметил: “у Музы есть различные пристрастия. Дары ее даются не равно...”

Тютчев – поэт острого космического чувства, глубокой живой мысли; в стихах его, по выражению Добролюбова, есть и “знойная страстность, и суровая энергия”. Излюбленные образы Тютчева, влекшие его “сердце, полное тревоги”, – это ночь, буря, ветер, гроза, “небесный свод, горящий славой звездной”.

И рядом – А.Н. Майков, его младший современник, его “духовный крестник”, как называл себя поэт, стихотворец иного склада, иного художественного темперамента, иных пристрастий, обогативший русскую поэзию антологическими стихотворениями, создавший картины древней и современной ему Италии. Превосходный мастер русского пейзажа – здесь, пожалуй, наиболее полно раскрылся майковский талант.

Действительно, дары музыки “даются не равно”. И тем не менее в идейно-образной системе обоих поэтов есть и нечто общее. Их связывает проблематика стихотворений: взаимоотношения человека и Вселенной, понимание природы как единственно подлинной реальности. Однако сознание Тютчева в своей основе глубоко антиномично. Пытаясь разгадать тайны человеческого “я” и его духовное родство с космосом, оно проникает и в светлую, и в темную сторону жизни.

Поэтическое сознание Майкова не знает роковой раздвоенности. Но и он обладает “космическим чувством”, созвучным возвышенному строю переживаний Тютчева. Стремление проникнуть в тайны космоса заставляет и Майкова обращаться к природе с пытливыми вопросами:



Что же там, за границю конечного?

Что вдали сиянья звезд златых?  
То не окна ль храма вековечного?  
То не очи ль ангелов святых?

(“Лунная ночь”)

Общностью восприятия “вечных вопросов” (название одного из майковских циклов) человеческого бытия вызвано совпадение отдельных образов. Таковы образы горных вершин, ночной звезды, звездного неба, которые приобретают у обоих поэтов значение символов чего-то возвышенно-чистого, “запредельного”:

Слышу, грудь восторг колеблет сладостный,  
Вест на душу безвестный страх,  
Будто зов знакомый ей и радостный  
Ей звучит в таинственных словах...

(“Лунная ночь”)

В таинственном общении с миром звезд и Тютчеву открылась природа собственной души:

Там, в горнем, неземном жилище,  
Где смертной жизни места нет,  
И легче, и пустынно-чище  
Струя воздушная течет.

(“Над виноградными холмами...”)

Несомненную параллель к тютчевским образам “светлого храма”, возвышающегося на “краю вершины” (“Над виноградными холмами...”), и “недоступных” гор, увенчанных “непорочными снегами”, по которым “проходит незаметно Небесных ангелов нога” (“Хоть я и свил гнездо в долине...”), представляют собой майковские образы альпийских ледников в “стыдливом девственном веселье” (“Альпийские ледники”), Чамлиджских высот (“На Чамлиджи”), “ледяных пустынь”, откуда чудится поэту “какой-то звон” (“Из темных долов этих взор...”).

Переключка мотивов связана, безусловно, с общностью и родственностью “философического” миропонимания поэтов. Причем значительность и напряженность их переживаний нашли выражение в очень близких формах. Разнообразные “риторические” приемы выразительности – обращения, восклицания, вопросы, специальная лексика (*руны довременные, звездная хартия небес, летопись вселенная* – у Майкова; *святителище небес, живая телецница мирозданья* – у Тютчева), одинаковые “ключевые” слова (*тайный, таинственный, горный, вечный*) – все служит утверждению возвышенных и многозначительных философских раздумий о тайнах жизни природы и человеческой души.

Традиционный для русской поэзии прием параллелизма в изображении природы и человека определяет композиционную структуру и внутреннюю логику развития мысли и образа стихотворных произведений обоих поэтов. Развернутые сравнения подчеркиваются посредством двухчастной строфической композиции. То, что сравнивается, и то, с чем сравнивается, соединяются между собой словами *так, так-ков*. Однако внутреннее единство в стихотворениях Тютчева и Майкова осуществляется по-разному. У Тютчева, автора таких шедевров, как “Фонтан”, “Поток стугился и тускнеет...”, “Еще земли печален вид...”, сравнение развито глубже, у него, как правило, стираются грани между внешним и внутренним миром, между природой и человеком, – они почти тождественны.

В натурфилософских стихах Тютчева поэтическое слово воспринимается в двойном значении – прямом и переносном. Это обусловлено контекстуальной взаимосвязанностью обоих параллельных образных рядов. При этом тропеические изобразительно-выразительные средства нередко как бы “перекликаются” друг с другом, не сливаясь в единой структурообразующей метафоре:

Когда в кругу убийственных забот  
Нам все мерзит – и жизнь, как камней гряда,  
Лежит на нас, – вдруг, знает бог откуда,  
Нам на душу отрадное дохнет,  
Минувшим нас обвевт и обнимет  
И страшный груз минутно приподнимет.

Так иногда, осеннюю порой,  
Когда поля уж пусты, рощи голы,  
Бледнее небо, пасмурнее доли,  
Вдруг ветер подует, теплый и сырой,  
Опавший лист погонит пред собою  
И душу нам обдаст как бы весною...

(“Когда в кругу убийственных забот...”)

Иное дело – у Майкова, чья лирическая система, являя собой предел приближения лирики к эпосу, далека от тютчевской напряженной метафоричности. Ровная интонация его стихов противостоит субъективно-эмоциональному настроению стихов Тютчева. Лирическое переживание поэта раскрывается в описательных картинах и зрительных образах, оно не выражено прямо, а опосредовано деталями. У Майкова нет взаимообмена или эквивалентности природного и человеческого, которые так ощутимы в лирических миниатюрах Тютчева.

Майковский “параллелизм” явлений природы и переживаний человека характеризуется тем, что предметность изображения явлений природы преобладает над их эмоциональной окраской (“Воспоминание”, “Горный ключ”, “Заря”, “Слава”). В стихотворении “Горный

ключ”, например, таинственное рождение стиха сравнивается с подгорным ключом, явившимся непонятно откуда. Очень строгое, “предметное” изображение родника, выдержанное без одушевления его своими эмоциями. Ясность очертаний, точность и конкретность описаний, простота образов, лишенных импрессионистического “произвола”. Трудно представить себе в образной системе Майкова метафоры, подобные тем, что находим в стихах Тютчева: “Лазурь небесная смеется”, “Поют деревья, блещут воды...”, “И сладкий трепет, как струя, по жилам пробежал природы”.

Различие поэтических индивидуальностей Тютчева и Майкова особенно наглядно проявляется, в частности, в том, что дает окраску словесному образу, – в эпитете. С помощью эпитетов Тютчев выражает свое эмоционально-оценочное отношение к изображаемому: “Обвеян вещею дремотой, Полураздетый лес грустит...”; “Небесный свод, горящий славой звездной. Таинственно глядит из глубины...”. Это так называемые метафорические эпитеты, выражающие романтическое мировосприятие поэта. В целях заострения эмоционального состояния поэт нередко прибегает к парным эпитетам: “И взором трепетным и смутным, Пристав, окинем небосклон...”, “Есть в светлости осенних вечеров Умильная, таинственная прелесть...”; “В стихийном, пламенном раздоре...”.

“Оксюморонные” эпитеты Тютчева, указывающие на признак, внешне противоречащий предмету, передают диалектику мысли: “Лениво дышит полдень мгlistый...”, “Как под сумрачным их [звезд] светом Нивы дремлющие зреют...”.

Пристрастен Тютчев и к сложносоставным эпитетам: *пророчески-проциальный, болезненно-яркий, усыпительно-безмолвны, безлюдно-величавый, притворно-беспечный, младенчески-божественная, таинственно-волшебные, волшебнo-немой, звучно-ясный, незримо-роковая, блаженно-равнодушна, торжественно-угрюмый, пророчески-слепой.*

Большинство из этих слов передает сложное душевное состояние: поэт не боится столкновения психологических контрастов, их резкой оксюморонности. “Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло С того блаженно-рокового дня...”. Так начинается стихотворение, помеченное 15 июля 1865 года. Посвящено оно памяти Е.А. Денисьевой, с которой поэт встретился пятнадцать лет назад, в июле 1850 года. Эпитет “блаженно-роковой” передает всю глубину чувств поэта, испытывавшего на склоне лет “блаженство и безнадежность” последней любви. Подобные эпитеты многомерны, необычайно объемны, с внутренней перспективой. Ими Тютчев показал, насколько поэзия по своему существу диалектична и насколько поэтична диалектика.

Иные метафоры как бы “овеществляют” процессы душевных переживаний. С ощущениями огня, света, блеска отождествляются экзотические переживания поэта: “Сияй, сияй, прощальный свет Любви

последней, зари вечерней!"; "Как бы эфирною струею По жилам небо протекло!"; "И в нашей жизни повседневной Бывают радужные сны..."; "Как сердцу радостно, светло!".

Обратимся теперь к Майкову. Он стремится объективировать каждое впечатление от внешнего мира и почти не прибегает к формам самоанализа и лирического излияния. Предмет определяется им в своем главном свойстве – "сумрак синий" (у Тютчева он *глубокий, сонный, сладкий, немой*); "вечер тихий" (у Тютчева *пасмурно-багровый, пламенный и бурный*); "мгла холодная" (у Тютчева: "Во мгле стигийской роковой"). Майков употребляет эпитеты в их привычном значении: "октябрь пасмурный", "день угрюмый", "природа грустная", "восторг сладостный".

Тяготением к объективно-повествовательным лирическим формам объясняется и то, что Майков почти не пользуется средствами двойного определения, а в тех редких случаях, в которых применяет их, эпитеты не являются внутренне связанными, раскрывающими оттенки одного признака; напротив, они фиксируют разные свойства, без оттенков и полутонов. Например: "Вот тростник сухой и звонкий"; "Эта глубь лазурная, безбрежная"; "И долгий и звонкий тогда поцелуй наш раздался".

Таким образом, в отличие от Тютчева, Майков сохраняет классическую эпитетически-повествовательную эпитетику, которая позволяет ему "под спокойным и живописным стихом" (по определению самого поэта) скрыть личные переживания. Четкость рисунка и верность красок придают его стихам известную "красивость", эффектность, как, например, переводу одного из "Крымских сонетов" Мицкевича – "Алушта днем":

Но море синее спокойно, чайки реют,  
Гуляют лебеди, и корабли белеют.

Выбор эпитета, как видим, отвечает органическим свойствам поэтического таланта Тютчева и Майкова. В то время как Тютчев каждое впечатление от внешнего мира наделяет интимной эмоцией, Майков, напротив, стремится его объективировать. Тютчевский эпитет закрепляет глубину переживаний поэта, живущего всеми трагедиями и надеждами века, его стремление охватить своим творчеством разные стороны жизни. Эпитет Майкова более живописен и одновременно "созерцателен", статичен.



## Лейтмотив “Александровского времени” в романе И. С. Тургенева “Отцы и дети”

*И. В. ГРАЧЕВА,*

*кандидат филологических наук*

В романе “Отцы и дети”, рассказывая об имении Одинцовых, автор пишет: “Господский дом был построен в одном стиле с церковью, в том стиле, который известен у нас под именем Александровского...” (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1981. Т. 7. С. 75; далее – только стр.). Характерно, что писатель использует не общепринятое в искусствоведении название архитектурного стиля (например, классицизм, ампир и т.д.), а обращает читателя к воспоминанию о давно прошедшей эпохе правления Александра I. Эта, словно невзначай, сообщенная подробность оказывается далеко не случайной. Недаром Базарову, в первый раз посетившему этот дом, приходит на ум неожиданная аналогия: “Ведь ты знаешь, что я внук дьячка?..” – говорит он вдруг Аркадию. И добавляет: “Как Сперанский” (76).

М.М. Сперанский, выходец из среды сельского духовенства, благодаря уму и незаурядным способностям стал известным государственным деятелем Александровского времени. С его именем либеральная русская общественность связывала надежды на реформу социально-политического устройства России. В 1809 году Сперанский представил Александру обширный проект государственных преобразований, затрагивающий законодательную и управленческую систему, суд, органы государственного контроля и т.д. И хотя, согласно этому проекту, крепостное право должно было исчезнуть постепенно, изжив себя в результате социально-промышленного и духовного развития общества, дворяне не простили “высочке-поповичу” смелого намерения переустроить их привычную жизнь. В результате придворных интриг и обвинений в государственной измене Сперанский в 1812 году угодил в ссылку.

В представлении Тургенева современная ему эпоха Александра II стала повторением пройденного. Те же оптимистические надежды и ожидания, та же официальная шумиха вокруг предполагаемых реформ и т.д. И недаром главным героем тургеневского романа становится человек, по социальному положению напоминающий Сперанского и так же мечтающий деятельно участвовать в обновлении России. Тургенев дает понять читателю, что его Базаров по своим общественным потенциалам вполне мог бы равняться с деятелями, наподобие Сперанского. Аркадий с жаром говорит Василию Ивановичу, отцу Базарова: “Я уверен, (...) что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя”. Польщенный старик осторожно спрашивает: “Как вы думаете, (...) ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите?” Аркадий уверенно отвечает: “Разумеется, не на медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых”. И вновь настойчиво повторяет, что Базаров “будет знаменит” (116–117).

Упоминания о прошедшей Александровской эпохе, черты которой словно вновь воскресали в современной Тургеневу действительности, рассыпаны по всему роману. Так, о Павле Петровиче Кирсанове автор пишет, что тот, «когда сердился, с намерением говорил: “эфтим” и “эфто”, хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени» (47).

Однако, как оказывается, эти предания повлияли не только на речь Павла Петровича, но прежде всего на его политические убеждения. Тургенев по цензурным условиям о многом не мог говорить прямо. И тем не менее писатель не случайно подчеркивал “англоманию” Павла Кирсанова, упомянув также, что тот “пугал” провинциальных помещиков своими “либеральными выходками” (33). Ожесточенная полемика с Базаровым и пристрастное отношение к каждому слову

оппонента вызваны вовсе не тем, что аристократу Кирсанову чужды прогрессивные устремления разночинца Базарова. Наоборот, и Базарова и Кирсанова объединяет одна и та же сокровенная мечта о преобразовании России, только суть этих преобразований им представляется по-разному. Кирсанов в споре с Базаровым приводит в качестве образца для России государственно-политический строй Англии: “Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее” (47). Следовательно, Павел Петрович выступает за парламентскую монархию, считая необходимым покончить с традициями российского абсолютизма. Приводя в пример английских аристократов, он доказывал: “Они не уступают йоты от прав своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют *свои* обязанности” (47). Базаров же принадлежал к тем, кто выступал против всяких сословных привилегий и ратовал за безусловное уничтожение первенствующего положения российской аристократии.

Идеи об ограничении власти российских самодержцев были почерпнуты Павлом Петровичем не только из исторического опыта Англии, но прежде всего – из “преданий” Александровского времени. Проект Сперанского предусматривал превращение России в конституционную монархию, хотя и с гораздо большими, чем в Англии, властными полномочиями императора. Поводы к подобным реформаторским исканиям и надеждам подавал русскому обществу сам Александр I. Еще будучи наследником – в силу юношеской романтической восторженности или стремясь привлечь к себе сердца сторонников дворцового переворота, он в переписке и беседах с друзьями высказывал весьма смелые обещания, получавшие широкую огласку. А.С. Пушкин в дневнике 1834 года свидетельствовал о б Александре: “Он писал однажды Лагарпу, что, дав свободу и конституцию земле своей, он отречется от трона и удалится в Америку” (Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.-Л., 1949. Т. XII. С. 330). Сперанский, подавая Александру свой проект, рассчитывал именно на готовность молодого монарха ради блага отечества поступиться частью своих прав. Однако эти иллюзии вскоре были бесповоротно разрушены. Вместо отправленного в ссылку Сперанского первым другом и советчиком царя стал А.А. Аракчеев. И взамен ожидаемой свободы Россия получила грубый и жестокий гнет аракчеевского произвола. Что же касается жизни простого народа, то в ней все осталось по-прежнему: та же нищета, та же беспомощная зависимость и от помещика, и от чиновников, та же безысходность.

Пейзаж имения Одинцовых нарисован Тургеневым с помощью контрастов: на холме барский дом, построенный в “Александровском стиле”, под стать ему заказанная владельцем усадьбы церковь с росписью в “итальянском вкусе”, а далес – село “с кое-где мелькающими

трубами над соломенными крышами” (75). Каждая деталь этого описания многозначительна: и то, что церковь выстроена в европеизированном духе, и то, что на деревенских крышах трубы виднелись лишь “кое-где”, то есть большинство домов топилось по-черному, так же, как это было в далекие допетровские времена. С помощью небольшой пейзажной зарисовки Тургенев сумел рассказать и о том, как далеко оторвались дворяне от истоков своей национальной культуры, и о том, насколько безразличны они к бедам и нуждам простого народа, и о том, насколько неэффективным оказывается российское реформаторство.

Действие романа “Отцы и дети” начинается в 1859 году, в пору, когда намечались очередные реформы “сверху”. Аркадий Кирсанов, по пути в усадьбу, не успев порадоваться встрече с отцом и возвращению домой, погружается в размышления над проблемами, захватившими все общество: “Нет, – подумал Аркадий, – небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы... но как их исполнить, как приступить?..” (16). О переменах, в которых нуждается Россия, спорят хозяева усадьбы и Базаров. Об этом же пытался побеседовать с Базаровым его отец: «Заговорив однажды, по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он надеялся возбудить сочувствие своего сына; но тот равнодушно промолвил: “Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здешние крестьянские мальчики, вместо какой-нибудь старой песни, горланят: *Время верное приходит, сердца чувствуют любовь...* Вот тебе и прогресс”» (172).

И автор в данном случае вполне разделяет базаровский скепсис. С иронией он рисует нового губернатора, “из молодых, прогрессиста”, который недавно взял в свои руки бразды провинциального правления. Однако от этого жизнь губернии благополучнее не стала. Губернатор ничего толкового не сделал, зато дров наломал столько, что министерство “нашло необходимым послать доверенное лицо с поручением разобрать все на месте” (57). Этим лицом стал важный сановник Колязин. О нем писатель сообщает: “Подобно губернатору, которого он приехал судить, он считался прогрессистом”. Однако на поверку оказалось, что и он не из тех, кто искренне болеет сердцем за судьбу русского народа: “Он был ловкий придворный, большой хитрец и больше ничего; в делах толку не знал, ума не имел, а умел вести свои собственные дела: тут уж никто не мог его оседлать, а ведь это главное”. Характеристику Колязина Тургенев опять заканчивает исторической аналогией: “В сущности Матвей Ильич недалеко ушел от (...) государственных мужей Александровского времени...” (58).

Рассказывая о губернаторе, Тургенев замечал, что тот соединял в себе свойства “прогрессиста и деспота, как это сплошь да рядом случается на Руси” (57). Колязин, дружески принимая Аркадия и рисуясь



своим либерализмом, все же не преминул продемонстрировать перед ним свою способность приводить в трепет чиновничьи души: он «вдруг, обратясь к молодому чиновнику в благонамереннейше застегнутом вицмундире, воскликнул с озабоченным видом: “Чего?” Молодой человек, у которого от продолжительного молчания слиплись губы, приподнялся и с недоумением посмотрел на своего начальника. Но, озадачив подчиненного, Матвей Ильич уже не обращал на него внимания» (58–59).

Эта маленькая сценка красноречиво свидетельствовала, что и Колязин тоже “прогрессист и деспот” одновременно. Таким же прогрессистом и деспотом оказался в свое время Александр I. А.С. Пушкин, вместе со своим поколением переживший очарование либеральных надежд в первые годы его правления, вскоре в сатирическом стихотворении “Noël” (1818) назвал царя “кочующим деспотом”. И те, кто когда-то приветствовал начало царствования Александра I, начали желать его устранения. Граф А.Ф. Ланжерон, друг юности Александра, признавался Пушкину: “Теперь, честное слово, я готов развязать мой собственный шарф”, – намекая на обстоятельства убийства Павла I (Пушкин А.С. Указ. собр. соч. Т. XII. С. 330).

Тургенев, выстраивая в своем романе административную лестницу от провинциального губернатора до придворного сановника, подводит читателя к мысли, что и царственный тезка Александра I – Александр II – может повторить его судьбу, легко превратившись из прогрессиста в деспота. Не случайно финал тургеневского романа построен таким образом, что, по логике авторского повествования, в России, входящей в новую эпоху реформ, не находится места ни Базарову с его радикальными устремлениями, ни Павлу Кирсанову с его идеями ограничения российского абсолютизма. Предчувствия Тургенева вполне оправдались: уже в конце 60-х годов правительственный либерализм сменился курсом контрреформ, постепенно ужесточавшихся. История повторилась. И лейтмотив “Александровского времени”, прошедший через роман “Отцы и дети”, оказался пророческим.



## “Горько пахло осенним тлением...”

Запахи в прозе И.А. Бунина

Т. Г. ДМИТРИЕВА,  
кандидат филологических наук

И.А. Бунин в рассказе “Книга” сам определил особенность своей художественной прозы: “... Остро вижу, слышу, *обоняю*, – главное, чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, нудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах” (курсив здесь и далее наш. – Т.Д.).

Пожалуй, никто из русских писателей не придавал такого большого значения описанию запахов, как Бунин. Его проза – это настоящая “обонятельная” энциклопедия русской жизни, из которой читатель может узнать, как пахло в помещичьих домах, в деревенских избах, в гостиницах, на вокзалах, ощутить свое соприсутствие с героем: “В вокзале пахло мокрыми полушубками, самоваром, махоркой, керосином”; “в прихожей, пахнувшей снегом, соломой и хомутами, было пусто” (“Деревня”); “Прохладный дом, так знакомо пахнувший восковыми свечами, липовым цветом, буфетной, казацким седлом, (...) опустевшими перепелиными клетками” (“Суходол”); “А какой пахучий был этот город! Чуть не от заставы (...) уже пахло: сперва болотом с непристойным названием, потом кожевными заводами, потом железными крышами, нагретыми солнцем, потом площадью, (...) а там уж и не разберешь чем: всем, что только присуще старому русскому городу...” (“Жизнь Арсеньева”).

Однако большей частью при передаче запахов Бунин не ограничивается простым называнием, *чем* пахнет, а уточняет, *как* пахнет и ка-

ким именно запахом: “И вот еще запах: в саду – костер, и *крепко* тянет душистым дымом вишневым сучьев” (“Антоновские яблоки”); “Сладко дуло полевым дождевым ветром” (“Натали”).

Так, в “Жизни Арсеньева” описания построены по этому же максимально развернутому принципу, с введением обстоятельств, дополнений, эпитетов: “Горько и свежо пахнет сквозь тепло мерзлым и оттаивающим осиновым хворостом”; “кухня, густо пахнувшая жирной горячей солониной”; “крепко, вкусно пахнувший угаром ведерный самовар”; поле со “снопами, пахнувшими разогретой на солнце золотой ржаной соломой”.

Писателю одинаково интересны запахи природы и цивилизации: “кинулся я в пахучий и светлый буфет”; “веяло пахучим ветром, крепкой и приятной вонью свежей краски, бумаги, свинца, керосина и масл”.

Каждое время суток, по наблюдениям Бунина, имеет свои запахи: “пахнет весенним утром и туманом”; “вечерние смешанные запахи села, его изб, садов, реки, винокуренного завода, кушаний, приготовляемых к ужину в доме управляющего”; “проезжаем по деревне, пахнувшей всеми вечерними летними запахами”; “пахло ночной лесной свежестью” (“Кума”).

Запах свежести – образ, повторяющийся во многих рассказах: “Всю ночь пахло морской свежестью” (“Сны Чанга”); “весенней свежестью, отовсюду веявшей в дом” (“Жизнь Арсеньева”); “нельзя было надыхаться крепкой свежестью зимнего воздуха” (“Деревня”); “Возле постели сидел старичок-фельдшер, пахнувший лекарствами и морозной свежестью” (“Деревня”); “еще горько и спиртуозно пахло из кустов осенним тлением, но этот запах терялся в зимней свежести” (“Суходол”); “Митю поразил горький и свежий аромат леса, молодой дубовой листвы” (“Митина любовь”).

Особенно часто встречаются в бунинской прозе сладкие запахи, причем *сладковатый* – это не только приятный, тонкий аромат, о котором упоминается в “Митиной любви”: “И груши и яблоки цвели и осыпались (...) В теплом воздухе чувствовался их сладковатый, нежный запах вместе с запахом нагретого и пресющего на скотном дворе навоза”. Сладковатый запах – это и запах тления, смерти: “еще долго чувствовался – или мнился – в вымытом и много раз проветренном доме страшный, мерзкий, сладковатый запах” (“Митина любовь”).

Сладкий запах – запах весны, счастья: “опять веет сладким ароматом зацветающей ржи” (“Золотое дно”); “так сладко пахло и елями и жасмином” (“Митина любовь”); “сильно пахло сладким цветом груши” (“Натали”).

Об особой ассоциативной роли *запаховой памяти* в “Жизни Арсеньева” говорится в связи со сладким запахом душистого табака: «... этот запах соединился у меня с чувством влюбленности, которой я впервые в жизни был сладко болен несколько дней после того. Это благодаря

ей, этой уездной барышне, я не могу без волнения слышать запах “табака” (...) я всю жизнь вспоминал от времени до времени и ее, и свежесть фонтана, и звуки военной музыки, как только слышал этот запах...».

Память о запахе любимого существа неразрывно связана с пережитыми эмоциями: “Одно воспоминание о грубом запахе ее волос, смешанном с запахом платка, приводило меня в трепет (“Жизнь Арсеньева”); “Еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было... И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью (...) И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние. (...) Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее особенностями, помнил запах ее загара и холстинкового платья...” (“Солнечный удар”).

Именно *запаховая память* позволяет герою воскресить образ давно умершей возлюбленной и с новой остротой пережить прошлое: “... я, открывши глаза, вздохнул этим ветром и, облокотившись на свою подушку, стал глядеть на другую, лежащую рядом, в которой еще оставался чуть слышный фиалковый запах ее темных прекрасных волос и платочка, который она, помирившись со мной, еще долго держала в руке; и, вспомнив все это, вспомнив, что с тех пор я прожил без нее полжизни, видел весь мир и вот все еще живу и живу, меж тем как ее в этом мире нет уже целую вечность, я, с похолодевшей головой, сбросил ноги с дивана, вышел и точно по воздуху пошел по аллее...” (“Жизнь Арсеньева”).

Эмоциональная сила обонятельной памяти так велика, что воссоздает весь образ: “Вот этот запах перчатки – разве это тоже не Катя, не любовь, не душа, не тело?” (“Митина любовь”).

Изображая единый, целокупный поток жизни, Бунин не забывает о всех тех обонятельных впечатлениях, из которых она состоит: “... и все слилось в одно – Катя, девки, ночь, весна, запах дождя, запах распаханной, готовой к оплодотворению земли, запах лошадиного пота и воспоминание о запахе лайковой перчатки” (“Митина любовь”); “День за днем жил весенний город своей огромной, разнообразной жизнью, и я был одним из самых счастливых участников ее, жил всеми ее запахами, звуками, всей ее суетой” (“Далекое”).

Пожалуй, только Бунин передал с такой остротой это ощущение полной растворенности человека в окружающем природном мире, не забыв упомянуть и о запахах – неперменной составляющей всеобщего бытия: в Индии или на Цейлоне “в черные знойные ночи, в горячем мраке, чувствуешь, как тает, растворяется человек в этой черноте, в звуках, запахах, в этом страшном Все-Едином” (“Братья”).

Символическое звучание приобретает лейтмотив аромата антоновских яблок в одноименном рассказе писателя, построенном на вос-

поминаниях об уходящем старинном укладе русской жизни: “Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб...”. Бунин описывает урожайные яблочные годы, когда, “всюду сильно пахнет яблоками” – в саду, в доме: войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета...”.

Этот тонкий волнующий аромат, неразрывно связанный с дорогой сердцу писателя образами прошлого, становится воплощением прекрасного в природном и человеческом бытии.

Такое большое внимание, которое уделял Бунин роли запахов в своей прозе, придает ей дополнительное *обонятельное обаяние*, словно делает нас сопричастными миру переживаний героев. Писатель открывает нам и свой *мир любви* ко всему сущему на земле – “необъятный, непонятный, благовонный, благодатный”.



## “Музыку я перевел на слово”

### О мифотворчестве А.М. Ремизова

О. А. ЧУЙКОВА,

кандидат филологических наук

“Я далеко в V веке, когда мир был прозрачней и то, что называется сказкой, виделось простым, не вооруженным фантазией глазом” (Ремизов А.М. Царевна Мыра. Тула, 1992. С. 298), – писал в Париже постаревший, но по-прежнему могущественный художник слова А.М. Ремизов. И может быть, именно в этих словах заключено определение того, что называется его мифотворчеством. Писатель не выдумывал свои причудливые истории – он вспоминал, обрабатывал разные источники, сам становясь постоянным героем своих произведений: “Выбор материала – встреча на словесной земле и спуск под землю, – попалась легенда, я читаю и вдруг вспомнил: я принимал участие в сказочном событии. И начинаю по-своему рассказывать” (Там же. С. 391). Это “участие в сказочных событиях” он объяснял своей памятью, длящейся многие века, которую он называл “прапамять”.

Твердо веря в истинность всего прочувствованного, “вспоминаемого”, Ремизов видел иллюзорность и расплывчатость существующего, его прямую зависимость от “точки зрения”. Сны, по его мнению, гораздо больше и правдивее могли сказать о жизни, но “разве то, что из сна, можно переводить на нашу трезвую речь?.. И что может быть ближе, чем образ из сна?” (Ремизов А.М. Огонь вещей. Пляшущий демон. Встречи. М., 1989. С. 389).

Писатель пытался найти неповторимые, свежие слова, создать текст, обладающий не только эстетической и смысловой нагрузкой, но и ритмическим строем, почти поэтической музыкальностью: “музыку и (...) рисование я перевел на слово” (Ремизов А.М. Царевна Мыра. С. 367).

Так, описывая праздник Ивана Купалы в своей поэтической “Посолони”, Ремизов рисует роскошную картину волшебства и загадочности: “Теплыми звездами опрокинулась над землей чарая Купальская ночь. Из тенистых могил и темных погребов встало Навье. Плавали по полю воздушные корабли. Кудеяр-разбойник стоял на корме, помахивал красным платочком. Катили с погостов погребальные сани. Сами ведра шли на речку по воду. В чаще расставлялись столы, убирались скатертями. И гремел в болотных огнях Навий пир мертвецов” (Ремизов А.М. Посолонь. М., 1907. С. 34).

Навье, – поясняет Ремизов в Примечаниях, – мертвецы, по той или иной причине вышедшие из могил, не сохранившие свою человеческую природу. У некоторых народов – это мрачные карлики, цверги, почти всегда убивающие все живое, встреченное на пути. Болотные же огни, по славянским поверьям, – одноглазые младенцы, также души умерших, ушедших без покаяния, или самоубийц. Летучие корабли (облака) издревле представлялись человеку принадлежавшими Сварогу или Одину, причем некоторые выполняли как поощрительные, так и карающие функции.

Все эти образы создают у читателя сложное ощущение торжественности не нарушаемого пока никем покоя ночи и собственного небезопасного присутствия в ней. “Криксы-вараксы (по Ремизову, мифическое существо, олицетворение крика – О.Ч.) скакали из-за крутых гор <...>. Забрал Черт своих чертяток... приковылял дед Водяной... Прискакала на ступе Яга... С грехом пополам перевалило за полночь. Уцепились непутные, не пускают ночь” (Там же. С. 35). “Посолонь” отличается необычным синтезом сказочного и мифологического начал. Яга, черт, русалки принадлежат как древним поверьям, так и волшебным сказкам. Все эти персонажи, кроме того, органично сливаются с уникальными образами “низшей демонологии”, оживленными неистощимой фантазией Ремизова. Все эти Криксы-вараксы, Вытарашки и т.д. подробно описаны им в Примечаниях к “Посолони”.

Третья тематическая часть “Купальских огней” иллюстрирует неистовую языческую вакханалию, которой предавалась в эту ночь, как считали наши предки, нечистая сила. “Распустившийся в полночь купальский цветок горел и сиял, точно звездочка <...> Доможил-Домовой... гладил Бабу-Ягу <...> в дремливой лебеде Сорока-щектуха загоралась Жар-птицей <...> И воскликнула лебедью алая Вытарашка...” (Там же. С. 35).

Источником своего творчества Ремизов считал “песню, величание, молитву”. Это во многом объясняет и неповторимую организацию его прозы. Она строится скорее как поэтический текст, со своей метафорической системой, лейтмотивом и обязательным присутствием лирического героя, близкого автору; большое внимание уделяется и словесной орнаменталике. Исследовательница наследия писателя Ольга Раевская-Хьюз пишет: “Основной миф в творчестве Ремизова – это миф о себе самом: о рассказчике и писателе Алексее Ремизове”, причем герою его легенды “свойственна многоликость, он меняет обличье... а истоки его мифотворчества близки символическому жизнетворчеству” (Алексей Ремизов. Исследования и материалы. СПб., 1994. С. 9).

Писатель постоянно размышлял над феноменом сотворения текста, как некой новой реальности, живущей самостоятельной и во многом независимой от автора жизнью: «“Пруд” автобиографичен, но не

автобиография. Круг моих интересов и наблюдений – фабричные, фабрика, где прошло мое детство; улица, бульвары – я был уличный мальчишка; подмосковные монастыри, куда оравой выбирались мы летом “на богомолье”. Все это из жизни... “Пруд” отпугнул странностью и непонятностью... Я по пылу молодости все хотел обозначить по-своему – назвать каждую вещь еще не названным именем. И в строении глав было необычное, теперь совсем незаметное: каждая глава состоит из запева (лирическое вступление), потом описание факта и непременно сон; при описании душевного состояния, как борьбы “голосов совести” я пользовался формой трагического хора» (Ремизов А.М. Избранное. М., 1978. С. 589).

Слово Ремизова выполняет несколько художественно-эстетических функций. Например, в “Посолони” можно выделить сочетания звуков, красок, ритмов, которые служат для усиления воздействия на читателей и слушателей. В примечаниях к “Посолони” художник специально делает акцент на том, как именно надо произносить то или иное место его текста: «“Ам!!!” – съел. – Эту фразу надо прочитать так, чтобы действительно слушатели забоялись, а для этого следует подготавливать предыдущими фразами и сразу после паузы: “ам!”, или “Ку-ри-ца со дво-ра”... – эту фразу надо читать медленно и важно, с приподнятой головой, изображая медлительный курицын выход, и, сделав небольшую паузу, скороговоркой продолжить: “Калечина в ворота”» (С. 99). Объясняя происхождение звукоподражательных слов, писатель строит целый смысловой ряд: “Чокнется – чек, бух, хлоп, стук, бряк, шлеп – звук удара” (Там же. С. 99).

Ремизов широко пользуется не только звуковой, но и цветовой палитрой. Его “Посолонь” – это на самом деле “солнечная страна”, где преобладают самые яркие, насыщенные краски: алые, бирюзовые, черные, белые, золотые тона “выщечивают” волшебный мир. Свою любовь к цвету Ремизов объясняет так: “таким зародился я на свет: мой стих и страсть – *весь мир склеил бы и выкрашу землю в самые яркие краски!*” (Ильин И.А. О тьме и просветлении: Книга художественной критики. Бунин – Ремизов – Шмелев. Мюнхен, 1959. С. 95).

Своеобразие ремизовского мировидения отмечает и сам И.А. Ильин: «В отличие от многих других писателей, которые *идут от наблюдения к изображению*, Ремизов должен сначала *творчески вообразить*, чтобы потом *изобразить*. Дневной мир трезвых вещей и отчетливых очертаний мешает ему. <...> А вот когда станет тесно, и все аксиомы разорвутся, как цепи, ты и не хочешь, а увидишь – и басаврюков, и кикимор, и эспии, гешпенства, и всяких цвергов – “бесов”. <...> Тогда все горит и цветет; тогда душа поет, в ней стоны и вздохи, ликование и молитва; тогда в ней, как со дна моря, поднимается целый *остров художественного бытия*» (Там же. С. 110).





***Напротив* в стихотворении А. Ахматовой  
“Третий Зачатьевский”**

*М. С. МИЛОВАНОВА*

В стихотворениях поэтов встречаются слова, которые играют особую текстообразующую роль, как, например, слово *напротив* в стихотворении А. Ахматовой “Третий Зачатьевский”.

Переулочек, переул...  
Горло петелькой затынул.

Тянет свежесть с Москвы-реки,  
В окнах теплятся огоньки.

Покосился гнилой фонарь –  
С колокольни идет звонарь...

Как по левой руке – пустырь,  
А по правой руке – монастырь,

А напротив – высокий клен  
Красным заревом обагрен,

А напротив – высокий клен  
Ночью слушает долгий стон.

Мне бы только найти образок,  
Оттого что мой близок срок,

Мне бы снова мой черный платок,  
Мне бы невской воды глоток.

Максимально выделить обстоятельство *напротив* призвано тире: отстраняя *напротив* от всей следующей части предложения, тире упорочивает его самостоятельность, подчеркивает “внутреннюю энергию” (Н.С. Валгина) слова.

Однако остановиться на точке зрения, что перед нами типичное обстоятельство, мешает, во-первых, то, что обстоятельство-детерминант можно поставить в предложении непосредственно рядом со сказуемым, усилив при этом связь слова со сказуемым, – но в нашем случае такая перестановка невозможна.

В стихотворении *напротив* повторяется дважды. И не только само слово, но и синтаксическая конструкция целой строки, частью которой является слово *напротив*.

Повтор – это способ сосредоточить внимание читателя на чем-то очень важном для автора.

Первая строка, будто оборванная страшной петлей, “гулкие” и “пустынные” рифмы, противопоставление имеющегося (“свежесть с Москвы-реки”) и желаемого, но невозможного (“невской воды глоток”), “мне бы”, повторенное трижды и лишаящее всякой надежды, – все говорит об одиночестве, тоске и безысходности. Клен, окрашенный в беспокойный красный цвет – цвет крови и пожара (“заревом обагрён”), – символ душевного смятения. Лирической героине Ахматовой неуютно, смертельно плохо в этом мире, и особенно в этом его уголке. Обстановка, место действия подчеркивают и усугубляют тревожное состояние Ахматовой – ее лирической героини, а слово *напротив*, усиленное повтором, становится главным в структурной организации текста.

Везде пустота и одиночество: слева (“Как по левой руке – пустырь...”), справа (“как по правой руке – монастырь...”), рядом, вокруг. Но самое страшное – напротив, т.е. прямо перед тобой, очень близко, “глаза в глаза” (ср.: “И прямо мне в глаза глядит и скорой гибелью грозит огромная звезда...”). Клен, что напротив, – и собеседник, и свидетель страданий (“ночью слушает долгий стон”), и alter ego поэта (в терминологии Анны Ахматовой – двойник) – то же, что душа. *Напротив – внутри – в душе* – тревога, предчувствие и ощущение беды.

Но слово *напротив* непосредственно не связано ни с одним из членов предложения, наоборот – отделено “длинным” знаком тире. В то же время в смысловом плане слово недостаточно самостоятельно и требует уточнения: *напротив кого? чего?*

Стихотворение написано от первого лица, следовательно, точкой отсчета становится рассказчик, лирический герой (героиня). Подразумевается: *напротив меня*. В таком, хоть и неявном, сочетании статус слова *напротив* можно определить как наречие с признаками предлога. С другой стороны, плохо сочетаясь со словами “обагрён” и “слуша-

ст”, *напротив* требует слова с пространственной семантикой. Можно предположить, что перед нами предложения с неполной реализацией структурной схемы словосочетания. В развернутом виде предложения выглядели бы следующим образом: “А напротив (меня стоящий) высокий клен красным заревом обагрел”; “А напротив (меня стоящий) высокий клен ночью слушает долгий стон”.

Таким образом, у слова *напротив* отмечаем многоуровневые связи: на уровне предложения (множественные, в том числе и имплицитные, подразумевающиеся); на уровне части текста (рисуя обстановку и место действия, *напротив* входит в ряд однородных обстоятельств места, выделяясь, однако, безусловной доминирующей ролью); на уровне текста всего стихотворения: *напротив – внутри – в душе*.

Отказавшись от уточняющих ненужных подробностей, воспользовавшись структурной схемой неполного предложения, организующим центром которого и стало слово *напротив*, Анна Ахматова сумела придать самому слову семантическую насыщенность, а стихотворению в целом – сжатость, выразительность и подлинный драматизм.



**“Филологические” стихи  
Александра Кушнера**

*Л. Л. БЕЛЬСКАЯ,  
доктор филологических наук*

Поэт, усилий не жалея,  
Не запускай свое хозяйство  
И будь подробен, как Линней.  
(1962)

Поэзия, следи за пустяком,  
Сперва за пустяком, потом за смыслом.  
(1985)

А стихи... о стихах разговор отдельный,  
Профессиональный и бескорыстный.  
(1994)  
А. Кушнер

Есть поэты, которые любят размышлять в стихотворной форме о “святом ремесле”, о поэтике и искусстве слова, об изящной словесности, за что их поэзию нередко называют “книжной” и “литературной”, “рациональной” и “рассудочной”. К таким поэтам относится Александр Кушнер, и его стихи насыщены и переполнены именами писателей и их героев – от Гомера до Заболоцкого, от Одиссея до Лолиты – ссылками на художественные произведения, литературными ассоциациями, реминисценциями, цитатами. Возможно, это связано с филологическим образованием поэта и десятилетним преподаванием русского языка и литературы в школе.

Пожалуй, по кушнеровским стихам можно изучать школьную и даже вузовскую программу, но с обновлением привычных стереотипов. Оказывается, Троя была такой маленькой, что “Ахилл-истерик” мигом обежал ее трижды и не слишком утомился, догоняя обидчика. В шекспировском “Гамлете” взывает к мести не один отец, а два, и двое сыновей страдают и плачут (правда, в прозе эта мысль была высказана еще Гюго в “Трактате о Шекспире”: “В пьесе два отца, требующих отмщения”). Великий немец, провозгласивший “Остановись, мгновенье, ты прекрасно!”, в своей жизни испытал всего 11 прекрасных мгновений. Слежка за слепым контрабандистом в “Тамани” уподобляется поискам “ускользающего смысла”.

Заметим, что автор часто пользуется приемом умолчания и превращает свои стихотворения в литературные викторины, явно рассчитывая на образованного читателя. Попробуйте и вы проверить свою начитанность. Кто такой “мурановский сумрачный гений”? Кем была написана “Осень”, где сказано “про тщету урожая, про жалкое, тщетное дело поэта”? О какой встрече всадника с арбой, везущей мертвеца, идет речь, если “живому поэту погибший фору в восемь лет баснословных давал”? Вслед за кем из стихотворцев начала XIX века затронулена тень библейского жреца Мельхиседек: “О том, что жалок человек, Сказал еще Мельхиседек...”? Что чему противопоставлено: “Чем повторять стихи про кобылицу И вечный бой, Разумней было б вспомнить про Фелицу: Она милей, чем скачка и разбой”?

В поэзии Кушнера множество цитат, то хрестоматийных и точных, то видоизмененных и преобразованных: “возлюбленная тишина”; “глагол времен, металла звон”; “другая жизнь и берег дальний”; “всепоглощающая бездна”; “А воз и ныне там”; “Корабль одинокий несется, Несется на всех парусах”; “И ты не дремлешь, друг прелестный”; “Я тоже посетил ту местность”; “Братья? Сорок их тысяч я мог бы один заменить”; “И ветер, и дождик, и клоч тополиного пуха...” (у Бунина “И ветер, и дождик, и мгла...”); “Ни один бинокль на нас не вскинут. Я себе представить не могу Жизни, из... которой сумрак вынут”. По мнению критика Владимира Соловьева, “всеядная цитатность” и пересказ чужих мыслей ведут к вторичности кушнеровской лирики, к “литературному паразитизму”: “поэзия превращена в филологию, стихотворение в перифраз или пародию”, становясь “отраженным светом классической культуры” и “мостом от невежества к знанию” (Соловьев В. Три еврея, или Утешение в слезах. М., 2001. С. 167–172). Думается, приговор этот излишне суров, и “филологическая” поэзия тоже имеет право на существование, тем более что обильное цитирование и стилизация – примета современной литературы, которая стремится пересмотреть традиции классики.

А. Кушнер не только активно использует всякие литературные аллюзии, но и сочиняет стихи на профессиональные темы: о роли заимствований в искусстве, о процессе поэтического творчества, о выборе жанра и метра, о стиховой интонации, о строфах и рифмах, ямбах и верлибре. Так, он утверждает, что веяния и влияния литературе не вредят, и пусть “прыгающий шаг” разноstopного ямба взят у Пастернака и Фета, смущая его, автора конца XX века, как “пиджак с плеча чужого”, но “что-то сердцу говорит, Что всё – иначе. Сам по себе твой тополь мчит И волны скачут”.

Предлагая поэзии следить за “пустяком”, потом за смыслом, а поэту основательно и подробно заниматься “своим хозяйством”, Кушнер имеет в виду как реальные подробности – бытовые детали, пейзажные зарисовки, психологические нюансы, – так и работу со словом

и стихом. Вот как описаны им вводные слова: “они мешают суть сбесречь и замедляют нашу речь”, но помогают собраться с мыслями (во-первых, во-вторых); когда же услышишь “к счастью”, то радуешься вне зависимости от сказанного (“Вводные слова”). А всплеск и вздох междометий? Нет ничего точнее, “осмысленней и горестнее их”. А смещенные ударения в русской поэзии, “пока еще язык не затвердел”: “на х́лмах Грузии”, “с ума спрыгну́ть”, “рассеется призра́к”, “из племени духо́в”, “уча пенью́ и вздохам”, – теперь нам кажутся “игрой споткнувшегося слуха” (“В лазурные глядятся озера”).

А что вы думаете о такой мелочи, как предлог? На нем можно построить целое стихотворение: “Под шкафом, блюдечком, под ложечкой, под слудом...” И собрать всевозможные словосочетания с этим предлогом, отражающие многообразие жизни: *под вечер и под кус-том сирени, под креслом и под судом, под ручку и под шапкой снега*. Есть и классические осколки: *под небом Африки, под небом голубым, под насыпью, под бурю судеб, под зноем флорентийской лени*. Есть и *под солнцем вечности, и под грозой, и под мраком, и под страхом смерти*, а заканчивается – “если бы я мог сказать под Богом!” И все это, как замечает поэт, сотворено творительным предлогом. Поистине, “мне на руку в стихах играет и пустяк!”.

С другой стороны, Кушнер вовсе не самоуверен и понимает, что далеко не всегда удастся воплотить замысел в поэтической форме: “И слова не всегда в безупречную строятся фразу, И не всякие строки спешат обернуться стихом”. Зато как приятно, когда “послушная рифма, выбегая на зов, и легка, как душа, и точна, точно цифра”. И кажется, что сейчас стих “запоет, заплачет, зарыдает, застонет, завопит... но он заводит речь простую...”. Не полемический ли это отклик на цветаевское: “Поэт издадека заводит речь. Поэта далеко заводит речь”?

Александр Кушнер как-то сформулировал такую сентенцию: “У счастливой любви не бывает стихов, А несчастная их не считает”, – и в одном стихотворении показал, как боль и страдание берут “горький и скорый реванш на бумаге” и слова смягают разлуку, причем обнаруживается, что “привкус беды конструктивен в саднящей строке стиховой” (“Мне боль придает одержимость и силу” – сб. “Письмо”, 1974). И можно сравнить не поэзию с жизнью, а наоборот: “Как стих безумный, одержима, Неутомима! Невероятна!” (“Ход жизни”). И сопоставлять реальных людей с литературными персонажами, как, например, в эссе “Анна Андреевна и Анна Аркадьевна” или в стихотворении “Среди знакомых ни одна не бросит в пламя денег пачку...”.

А если устроить “парад” русских поэтов с точки зрения не их достоинств, а недостатков? “Конечно, Баратынский схематичен. Бесстильность Фета всякому видна. Блок по-немецки втайне педантичен. У Анненского в трауре весна. Цветаевская фанатична муза. Ахмато-

вой высокопарен слог. Кузмин манерен. Пастернаку вкуса Недостает: болтливость – вот порок. Есть вычурность в строке у Мандельштама. И Заболоцкий в сердце скуповат... Какое счастье – даже панорама Из недостатков, выстроенных в ряд!” (“Наши поэты”).

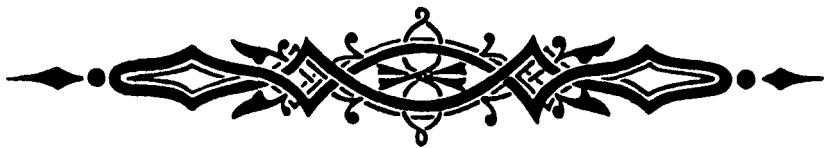
Пробует Кушнер продолжить традицию поэтических “Памятников” – и тоже в полушутливой форме, строя предположения, какую премию и за что присудит ему “вымышленный бог поэтов” Аполлон, и перечисляя не без смущения и усмешки свои поэтические заслуги: “За то, что ракурс свой я в этот мир принес и не похожие ни на кого мотивы”, за то, что в век идей “я скатерть белую прославил на столе”, за то, что не плясал под “дудку” критиков и писал для тех, кто живет “на отшибе”, “за уступчивость и так, за низачто, за je vous aime, ich liebe” (я люблю вас. – Л.Б.). Дав, по существу, объективную характеристику и оценку своей поэзии, автор тем не менее готов отречься от сказанного – “этих строк в душе стесняюсь я, и откажусь от них, и превращу их в шутку” (“Там, где весна...” – сб. “На сумрачной звезде”, 1994).

А. Кушнер был всегда высокого мнения о назначении поэзии и призвании поэта, который состязается с самим Богом, но в преддверии XXI столетия стал сомневаться в будущем стихотворной речи, опасаясь, что она уступит место прозаической: “Стихи – архаика, и скоро их не будет”, “И третье, видимо, нельзя тысячелетье Представить с ямбами, зачем они ему?” Но не будем заранее горевать и строить мрачные прогнозы. К тому же, и сам поэт, уподобляя стих ласточке, летящей “свободно, наугад”, убежден:

Поэзия – явление иной  
Прекрасной жизни где-то по соседству  
С привычной нам, земной...

Он верит, что там, “в той дивной местности” обязательно “сердцу пятая откроется стихия”, которая, однажды возникнув, остается с нами и не исчезнет никогда.

*Цфат,  
Израиль*



## ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ

1908–1943

Поэт и литературный критик Юрий Владимирович Мандельштам родился в Москве 25 сентября 1908 года. В 1920 году вместе с родителями уехал из России. В Париже окончил русскую гимназию, а в 1929 году – философский факультет Сорбонны. Прекрасно знал языки: французский, английский и немецкий. Классику читал в подлинниках. Обладая великолепной памятью, обширными познаниями и безупречным литературным вкусом, писал литературно-критические статьи, очерки и рецензии, бывал у Мережковских, в “Зеленой Лампе”, сотрудничал во многих эмигрантских изданиях: “Современных записках”, “Круге”, “Перекрестке”, “Числах”, а после смерти Владислава Ходасевича вел критический отдел в газете “Возрождение”. В журнале “Ла Ревю Франс” под редакцией Марселя Прево Юрий Мандельштам поместил ряд прекрасных статей о русских писателях (А. Белом, И. Бунине) и современной поэзии.

В статье «Летучие листки. По поводу “Перекрестка”» Вл. Ходасевич писал: «Надо сказать, что в последнее время очень вырос Ю. Мандельштам. В “Перекрестке” он напечатал шесть пьес, исполненных подлинного чувства, но сдержанных, внешне и внутренне благородных, не до конца самостоятельных, но своеобразных и чем-то вообще подкупающих, точно так же, как его недавно вышедшая книга “Остров” – кстати сказать, цельная и хорошо построенная, что само по себе хороший признак и теперь стало редкостью. Мандельштаму нельзя не пожелать дальнейших успехов – то есть прежде всего работы» (Российский литературоведческий журнал. М., 1994. № 4. С. 225). “Стихи Ю. Мандельштама, – замечал Г. Адамович, – как обычно, скромны, и скромностью своей приятны” (Г. Адамович. Русские записки // Последние новости. Париж, 1937. № 6109. 16 дек.).

Литературная деятельность Ю. Мандельштама длилась всего 11 лет. Первые его стихи появились в 1929 году в сборнике, изданном Союзом молодых поэтов в Париже. При жизни Мандельштама вышло три сборника стихов: “Остров” (1930), “Верность” (1932), “Третий Час” (1935). Цикл “Памяти твоей”, опубликованный в 69-й книжке “Совре-



менных записок” (Париж, 1939), посвящен памяти безвременно умершей жены поэта – Людмилы Стравинской:

Тебя здесь нет, а я еще живу,  
Но тишину твою и безмятежность  
Каким угодно словом назову,  
Но лишь не тем, в котором безнадежность.

В своих первых стихах Мандельштам тяготел к романтике и неоклассицизму и даже любил подчеркивать свою формальную “правизну” и традиционность:

Любви и нет. Но мы забыли  
О неутешности, и вот  
В мучительном Леконт-де-Лиле  
Душа, запутавшись, живет.  
Запутавшись... А все сильнее –  
И скудной радости не жаль –  
Парнасской строгостью болеет  
Уже приявшая печаль

(“По рубрикам, под номерами...”)

Основные темы – любовь, смерть, ощущение себя в чужом, оторванном от родины мире – то, что составляло мотивы “парижской ноты”.

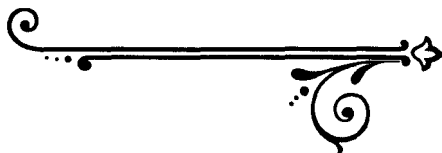
В стихах, посвященных погибшему Борису Вильде, участнику Сопротивления, Мандельштам, предчувствуя свою участь, писал о страхе неизвестности, надвигающейся тьме, вечном ужасе смертного позора и ночном свете, который стал “живее света дня”. Ощущение какого-то темного, страшного конца преследовало поэта. Он писал:

И если есть бесслезный плач,  
Ты все поймешь в минуту встречи,  
Смотря на согнутые плечи,  
Где знак поставил мне палач...

10 марта 1942 года, в разгар оккупации немцами Парижа, Мандельштам пришел к своему приятелю – поэту Игорю Воинову, был обнаружен во время проверки полицией документов, заключен в лагерь в Дранси, затем этапирован в Орлеан и после полугодового заключения в разных концлагерях отправлен “в неизвестном направлении” в Германию, где и погиб. Дата его смерти не установлена.

Последняя книга “Годы” была собрана в 1950-м году в Париже. В нее вошли стихи, написанные поэтом с 1937 по 1941 год. Мандельштам сам составлял этот сборник и дал ему такое название.

Последнее издание его стихов вышло в Нидерландах (Ю. Мандельштам. Собрание стихотворений. The Hague, 1990), но русскому читателю по-прежнему практически недоступно.



Ну что мне в том, что ветряная мельница  
Там на пригорке нас манит во сне?  
Ведь все равно ничто не переменится  
Здесь, на чужбине, и в моей стране.

И оттого, что у чужого домика,  
Который, может быть, похож на мой,  
Рыдая, надрывается гармоника, –  
Я все равно не возвращусь домой.

О, я не меньше чувствую изгнание,  
Бездействием не меньше тягочусь,  
Храню надежды и воспоминания,  
Коплю в душе раскаянье и грусть.

Но отчего неизъяснимо-русское,  
Мучительно-родное бытие  
Мне иногда напоминает узкое  
Смертельно ранящее острие.

\* \* \*

От ослепительного света  
Граненых ламп застыв едва,  
Как тело, празднично одета  
Душа, вступившая в права.

А тело тает взлетом тайным.  
Не потому ли так легка  
В прикосновении случайном  
Твоя прозрачная рука?

Но лампы гаснут от удара  
По гулким клавишам, и вот  
О горестях Елеазара  
Певец взволнованный поет.

Рахиль! Уже во власти тленья,  
Внезапно спутав имена,  
Душа не твоего ли пенья  
В любовной робости полна.

\* \* \*

Ночная мгла качается,  
Уходит из-под ног,  
И глухо начинается  
Бессвязный диалог.

О чем? Я сам не ведаю.  
Слова, слова, слова.  
Но сбивчивой беседою  
Томится голова.

Расти, разноголосица  
Бессоницы моей!  
Мне прерывать не хочется  
Невольный звук речей.

До утра цепью длинную  
Бесцельно доплыву,  
И ночь моя невинною  
Предстанет наяву.

Мне в этот бред не верится,  
Душа не тем жива.  
Мели, ночная мельница,  
Слова, слова, слова...

\* \* \*

Как грустно! В жизни этой  
И грусть не удержать!  
Стараются поэты  
Не помнить и не ждать.

И тут пахнёт духами  
Забывтая весна, –  
– И все плывет стихами,  
Лишь выглянь из окна.

\* \* \*

Слова и люди безразличны.  
Прядется медленная пряжа.  
Смотри, как за окном привычно  
На мокрый снег ложится сажа.

И тусклой музыкой всемирной  
Томится громкоговоритель.  
Разрушь последнюю обитель  
Волной несказочно эфирной.

Ты знаешь: и былую сложность  
Искупишь сердцем небогатым,  
Склонив над хриплым аппаратом  
Внежизненную безнадежность.

\* \* \*

Какая ночь! Какая тишина!  
Над спящею столицей луна  
Торжественною радостью сияет.  
Вдали звезда неясная мерцает  
Зеленым, синим, розовым огнем.  
И мы у темного окна, вдвоем,  
В торжественном спокойствии молчанья –  
Как будто нет ни горя, ни войны –  
Внимаем вечной песне мирозданья,  
Блаженству без конца обручены.

\* \* \*

Радость моя, мы с тобою расстались.  
Как мне осилить бессрочность разлуки?  
Эти глаза мне вчера улыбались,  
Ласковы были вчера эти руки....

Разве не это в житейской дороге  
Словом одним называется: счастье...

Были, конечно, у нас и тревоги,  
Но и в тревогах царило согласие.

Помнишь – твои разделял я страдания,  
Даже теперь, когда ты умирала?  
Если твое прерывалось дыханье,  
Воздуха в легких и мне не хватало.

Что же нас вдруг разлучило с тобою?  
Точно ли так безысходна могила?  
Или легла между нами чертою  
Тайная сила, но светлая сила?

Смерть? Но черты твои так просветлели,  
Будто бы в них благодать отразилась,  
Будто в земной ты заснула постели  
И в беспечальной стране пробудилась.

\* \* \*

Не потому, что близок мой черед:  
Он, может быть, настанет и не скоро,  
Не потому, что смерть меня влечет  
(О, вечный ужас смертного позора)...

Но с каждым днем – во мне, вокруг меня –  
Темнее тени боли, проблеск тайный,  
И свет ночной живет света дня,  
Незабываемый и неслучайный.

Вступительную статью и публикацию  
подготовила **Л. М. Грановская**,  
доктор филологических наук ©

## *Парное многоточие – как стилистический прием*

*Е. Г. ПОСПЕЛОВА*

Известно, что устная речь, наряду с особенностями фонетики и интонации, со своими тенденциями отбора слов и их форм, словообразовательных средств, фразеологизмов, отличается своими собственными синтаксическими конструкциями. Это могут быть “оборванные” или “разорванные” фразы: перебивы, самоперебивы, подхватывы, заминки речи и колебания при подборе слов и выражений, паузы, дающие говорящему время для обдумывания высказывания. Такая речь часто используется в художественной литературе. Читая какое-либо произведение, мы воспринимаем диалоги или монологи персонажей как разговорную речь со всеми ее отличительными особенностями.

Какими же средствами автору удастся передать в письменной форме паузы, заминки, интонационные колебания, имитировать ритмо-мелодический рисунок устной речи? Оказывается, этого можно достичь, наряду с другими языковыми средствами, особой графической, то есть пунктуационной организацией текста. Существует определенный пунктуационный знак, который может отражать в письменном тексте особенности конструкций разговорной речи – это п а р н о е м н о г о т о ч и е (Первое упоминание о парном (двойном) многоточии встречается в работе Б.С. Шварцкопфа “Современная русская пунктуация: система и ее функционирование. М., 1988. С. 48–50. Ранее этот выделительный парный пунктуационный знак в лингвистической литературе не отмечался).

Парное многоточие отражает “перерыв в тексте предложения”. Однако, перерыв может быть заполнен не только паузой в речи, но и словами, и оформляться как вставка в текст предложения, выделенная с двух сторон знаками многоточия:

“ – К тому же их... э ... отсутствие могло привлечь ваше внимание к э... не совсем правильному отношению между вами и вашими ... э ... родителями” (К. Эрд. Кто ты, Генриетта? // Звезда. 1996. № 4. С. 85); “Ошеломление ... как будто от близкого удара молнии... и тут же возвращение в сознание” (Т. Парницкий. Аэций – последний римлянин. М., 1969. С. 183); “... Вышел это я утром коров доить, гляжу – едут. Семка Костылин едет, Жак-Француз едет, этот, как его ... ах, ядрит-твою, все время забываю, за Вшивым Бугром живет... тоже едет!” (А. и Б. Стругацкие. Град обреченный. Нева. 1988. № 10. С. 118).

Парное многоточие используется главным образом, в художественных текстах и чаще всего в речи персонажей. Но ведь есть и обыч-

ное, одиночное многоточие. В чем же отличие и сходство этих двух разных знаков препинания?

В первую очередь, разница в графическом оформлении. Сделаем небольшое отступление в область графической системы письменного языка, благодаря которой строится печатный текст. Для наглядности воспользуемся терминологией из области музыкальной грамоты. Представьте себе, что буквы русского алфавита – это ноты. Между нотами существует пауза, а между словами – пробел. Как пауза прерывает звучание отдельного голоса музыкального произведения, так и пробел служит основным средством членения текста (А.Б. Пеньковский, Б.С. Шварцкопф. Опыт описания русской пунктуации как функциональной системы // Современная русская пунктуация. М., 1979. С. 6–7). Знаки препинания занимают определенные пунктуационно значимые пробелы, накладываясь на них. Именно так, наряду с пробелами, они создают порядок в массе слов.

Письменный текст графически делится на синтаксические обороты, предложения, а с помощью отступов – на абзацы. Благодаря этому синтаксическая организация текста становится наглядной, “прозрачной” и легкой для восприятия его семантики (смысла), что является целью пишущего. Если одиночное многоточие просто занимает пробел в тексте, разрывая или обрывая его, то парное многоточие, графически выраженное двумя элементами, как бы растягивается в пространстве на определенную дистанцию и заполняет пробел не только знаком препинания, а еще и куском “иног текста”, расположенного между двумя элементами этого знака (Б.С. Шварцкопф. Русская пунктуационная система и вставные конструкции // *Russian Linguistics*. 1994. № 18. Netherlands). Получается, что парное многоточие графически выделяет, маркирует синтаксическую конструкцию, заключенную в них. Так, в музыкальном письме для этой цели существует “акцент”, то есть подчеркнутое выделение звука или аккорда путем его усиления или ритмического удлинения, или смены тембра, гармонии. Усиление звука обозначают в нотках значками или сокращением определенных слов, а в нашем случае таким особым значком является парное многоточие: “Склады догорали, мы сунулись помочь, и в этот момент... да, было все еще довольно холодно, это я помню хорошо... так вот, в этот момент из всех разбитых взрывом сооружений лифтового комплекса с шипением вспенилась белая масса” (В. Головачев. Спящий джинн // Поиск. 1988. № 4. С. 24).

Одиночное многоточие богато выбором позиций употребления: это может быть и начало, и середина, и конец предложения или текста. Тогда как употребление парного многоточия ограничено лишь интерпозицией (серединой).

Дело в том, что одиночные и парные знаки препинания имеют разную функцию, то есть разный характер действия в письменном тексте:

одиночные знаки “разделяют”, или “отделяют”, а парные – “выделяют” (А.Б. Шапиро. Основы русской пунктуации. М., 1955. С. 87–89). Получается, что выделение – это не что иное, как двойное отделение. Специфика выделения выражается в направленности действия обоих элементов парного знака: левый знак направлен направо внутрь, а правый – налево внутрь. Оба элемента парного знака как бы стремятся навстречу друг к другу, делая акцент на том, что заключено между ними.

Одинокое многоточие в начале или в конце текста указывает на опущение начальных или конечных элементов (частей) предложения или текста; в середине – на пропуск или перерыв в предложении или в тексте.

В смысловом аспекте одинокое многоточие обозначает незаконченность и структурную или смысловую неполноту предложения или текста.

Парное многоточие указывает на то, что в середине предложения или текста находится какая-либо из следующих единиц: междометие; вводное слово, словосочетание и предложение; вставная конструкция. Действительно, как часто в разговорной речи мы используем междометия, наша речь просто изобилует ими. И, пожалуй, парное многоточие является самым эффективным пунктуационным знаком для передачи разговорной речи на письме, ее синтаксической специфики, живой выразительности. Использование этого знака препинания влечет за собой эмоциональный разрыв ткани повествования, разделяя ее на две части. Парное многоточие выполняет тем самым не только функцию членения текста, но и предопределяет совместное функционирование обеих частей, связывая их: “Не обижайтесь, товарищ Ворожбиев, есть причины... м-м ... от нас с вами не зависящие...” (И. Арсентьев. Старик из Тушина // Звезда Востока. 1986. № 5. С. 99); “Но почему дружище, у вас сегодня такой вид, будто ... ха-ха-ха!... будто вы обожрались ячменем?” (С. Голубов. Багратион. М., 1979. С. 8).

Особой выразительности, достоверности и живости образа достигают авторы, используя парное многоточие при выделении междометий, которые являются звуковым сопровождением определенных действий человека. Это может быть передача на письме звуков кашля, телодвижений замерзшего человека и т.д. Совокупность таких языковых средств, как семантически окрашенная лексика и парное многоточие, рисует нашему воображению реалистичный образ говорящего, его мимику, жесты: “Но ... кр-х-м!.. но, может быть, скажем на бюро, что в ближайшее время поправим положение на вашей дороге?... “(Ю. Плашевский. Посольство бия Койбогара // Простор. 1981. № 5. С. 108); “И вот сейчас Александр шел домой с линейкой... тьфу!... из гаража” (В. Шкалик. По системе йогов // Сибирские огни. 1980. № 2. С. 120); “Хотя мог бы рассудить и иначе: что дурного они могли добавить к сказанному им самим, не остановившимся перед



сравнением ... бр-р!... с улиткой” (С. Рассадин. Как быть несчастливым // Лит. газета. 1992. 29 июля).

Даже дым от табака или залитого водой огня можно “нарисовать” с помощью парного многоточия и звукоподражательных слов, имитирующих курение папиросы, тушение огня в печи:

– Я считаю ... пых-пых!.. что шансы ... пых-пых!.. равны нулю, – пропыхтел Сонькин отец” (А. Тоболяк. Откровенные тетради // Юность. 1980. № 5); “Федор также вышел из хаты, зашел в чулан, взял там заранее припасенное ведро воды, вернулся в хату, подошел к припечку и... – чапех... – залил огонь” (В. Гигевич. Возвращение памяти // Москва. 1980. № 12. С. 23).

Содержание фрагмента, выделяемого парным многоточием, может выражать оценку говорящим степени достоверности сообщаемого: “Я шагнул в проем, и тут сразу грянула музыка и огромная толпа людей дружно стала размахивать красными флажками, транспарантами, портретами Гениалиссимуса и ... я глазами своим не поверил ... моими” (В. Войнович. Москва 2042);

указывать на источник сообщения: “Я должен ... как вы говорите... принести извинения” (Р. Асприн. Шуттовская рота. Шуттовский рай. М., 2002. С. 77);

представлять собой призыв к собеседнику или к читателю с целью привлечь его внимание к сообщаемому, внушить определенное отношение к излагаемым мыслям, приводимым фактам: “Это так называемые реформы... вы слушаете меня, дон Кальво?.. я подчеркиваю это, ибо негоже будет, если папа сможет сказать, что он об этом и не слыхивал...” (М. Дрюон. Когда король губит Францию. Минск, 1983. С. 55);

передавать экспрессивность высказывания: “Хуже басурмана: мучит крестьян, разорил все свои отчины, забыл бога, и даже – прости, господи, мое согрешение! – прибавил он, перекрестясь и посмотрев вокруг себя с ужасом, – и даже говорят, будто бы он ... вымолвить страшно ... ест по постам скоромное” (М. Загоскин. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году);

изображать поиск способа выражения: “Особое место во второй статье Владимира Бондаренко занимает ... как бы это сказать поосторожнее... тема межнациональных отношений, взятая в ее ... если можно так выразиться... специфическом разрезе” (Я. Липкович. Как стать знаменитым // Звезда. 1989. № 4. С. 187); “Но вдруг тема, едва помеченная и лишь начавшая развиваться, прорезывается... как бы это объяснить ... какой-то музыкальной царапиной, раскалывающей ее затем сверху донизу” (М. Осоргин. Сивцев Вражек);

содержать комментарий к сказанному: “Итак, Карл Наваррский, прослышав, что переговоры о мире идут успешно, а это, разумеется, никак его не устраивало, в один прекрасный ноябрьский денек... бы-

ло это ровно два года назад... вдруг собственной персоной появляется в Авиньоне, где его никто никак не ожидал" (М. Дрюон. Когда король губит Францию); "Когда мне пришлось расстаться с моей маленькой чайной, знаете, из-за войны... это было так грустно... то я не все продала" (А. Кристи. После похорон).

Разговорную речь, выраженную в форме диалога, можно сопоставить с дуэтом. Это такой тип синтаксического построения, в котором парное многоточие фиксирует вставку реплики в разрыв другой реплики:

"Пользуясь случаем, хочу уточнить, что, плюнув вам в лицо, я намеревался выразить свое презрение не к вам лично, а к тому классу, который вы представляете. Более того, здесь, в тюрьме, я даже слышал о вас довольно лестные отзывы ...

– Спасибо.

– ... хотя я не верю, что можно служить сразу двух хозяевам, то есть быть судебским чиновником и в то же время оставаться честным, порядочным человеком..." (Э. Руссо. Логово горностаев // Иностранная литература. 1984. № 10. С. 63).

Структурный тип дуэта может иметь более сложный вариант, когда реплики двух говорящих перекрещиваются друг с другом:

"Я требую, чтобы следствие велось не здесь, не в этой избе, где вы позволяете себе все что угодно, а в служебном помещении..."

– Когда вы были в последний раз в Саратове?

– ... в служебном помещении, где я могу заявить протест...

– в последний раз в Саратове вы когда были?

– ... где я потребую, чтобы следователь был заменен!

– Когда вы были в последний раз в Саратове?" (С. Залыгин. После бури // Дружба народов. 1982. № 5. С. 44).

Следующий структурный тип можно ассоциировать с ансамблем из трех музыкантов-исполнителей, то есть с трио. Это такой композиционный прием, когда один голос является как бы фоном для двух других участников диалога:

"– Покайся, царь, – окреп голос владыки, – смой от крови руки, очисти душу от скверны, отринь опричников, слуг адových, что обступили тебя, кои и над таинствами церковными кощунствуют..."

– Что это с царем, почему не велит задушить злодея? – шепнул Малюта Скуратов своему соседу Алексею Басманову.

– Обнаглел чернец, прячется за спину народа. Разве возьмешь его в святом месте? – тихо ответил боярин. – Однако мы не забудем этих слов.

– ... Не уподобься Самсону, пожелавшему погубить врагов и обрушившему на свою голову храм..." (К. Бадигин. Корсары Ивана Грозного. М., 1977. С. 108).

Парное многоточие в ряде случаев играет роль композиционного элемента, который в рамках единого целого смещает пространствен-

но-временные границы происходящего действия, одновременно связывая исходный и конечный пункты. Здесь мы имеем дело как бы с “дистанционным прыжком во времени и пространстве”:

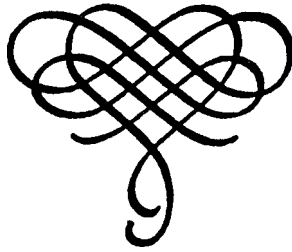
« – Я буду ждать вас ровно в час в Лиловом зале, третий столик у окна, – он прислушался. – Сговорились?»

– Закажите непременно омаров по-португальски: в винном соусе со спаржей, – засмеялась Юкико...

... Однажды, направляясь через проходную к лабораторному корпусу, Кадзи обратил внимание на то, как одноногий привратник Гомбэй сверлил глазами Юкико, которая поливала цветы перед южным флигелем. Кадзи не удержался от иронической реплики, но привратник не полез в карман за ответом: “Господин ученый, запомните: каждая женщина молит судьбу хоть раз в жизни послать ей взгляд мужчины, полный нежности, страсти и желаний. Так-то, мой господин!...” ... Когда они поднялись по скрипучей деревянной лестнице в номер Кадзи, дальнейшее было предreshено как само собой разумеющееся» (В. Кассис. Крах “Проекта М” // Аврора. 1988. № 12. С. 130).

Помимо оригинального и выразительного композиционного построения, этот пример интересен еще и тем, что в нем функционирует оба рассматриваемых нами знака. Первое одиночное многоточие обозначает пропуск описания ужина. Герои оговорили меню и далее, после одиночного многоточия, описываются их дальнейшие действия. Парное же многоточие является показателем пространственно-временного скачка, вводит воспоминания о прошлом в настоящий момент, чередуя планы изложения.

Очевидна разница смысловых функций этих знаков: одиночное многоточие обозначает незаконченность повествования, тогда как парное – свидетельствует, что заключенное в нем, относится ко второму плану изложения. Синтаксическая конструкция, выделяемая парным многоточием, не уместается в одну “смысловую плоскость” с основной линией изложения (И.И. Щеболева. Вставные конструкции в современном русском языке. АКД. М., 1955). Основная линия изложения при этом как бы разрывается, “размыкается”, а вставной элемент внедряется в нее, что создает семантико-синтаксическую двуплановость всего повествования. Два смысловых плана изложения располагаются не по развивающимся, а по сопутствующим линиям, что позволяет автору создать в тексте своего рода “ситуацию контраста” – свести воедино разные событийно-временные линии повествования. Одиночное и парное многоточия продуктивно взаимодействуют в тексте, что позволяет усилить его экспрессивность.



## Гендиадис-“шмендиадис”

### О повторах-отзвучиях

Д. В. ГУГУНАВА

Термин *гендиадис* (от греч. *hen dia dyoin* – одно через два) употребляется в филологии в двух значениях. Во-первых, это фигура речи, где, например, существительное используется «вместо существительного и прилагательного (*Рим силен отвагой и мужами вместо отважными мужами*) (...) или сложные прилагательные разделяются на исходные составляющие части: *тоска дорожная, железная* (А. Блок. «На железной дороге»)» (Гендиадис // Литературоведческий энциклопедический словарь. М., 1987. С. 75).

Во-вторых, в научном обиходе все более утверждается понимание гендиадиса как способа словообразования – разновидности сложения, в котором второй компонент представляет собой фонетическое видоизменение первого, например: *коза-дереза, страсти-мордасти, трава-мурава, фокус-покус, чудо-юдо* (а также образование, вынесенное в заглавие данной статьи). Явление это отмечается языковедами довольно давно, его наиболее распространенным названием до последнего времени был термин *повтор-отзвучие* (см. статью Н.А. Янко-Триницкой «Штучки-дрючки» устной речи (повторы-отзвучия) // Русская речь. 1968. № 4), между тем оно кажется недостаточно изученным.

В.П. Изотов в своей докторской диссертации «Параметры описания системы способов словообразования» (Орел, 1998. С. 38), называя гендиадис (в значении *повтор-отзвучие*) разновидностью сложения, выделяет его в самостоятельный чистый способ словообразования и насчитывает до пяти его разновидностей, однако эта позиция, несмотря на подробный анализ примеров, не получает веских обоснований. По общепринятому мнению, формальная разновидность одного чистого способа (при котором используется одно словообразовательное средство, например, единое словесное ударение при сложении) не мо-

жет быть другим чистым способом (самостоятельный способ должен характеризоваться собственным словообразовательным средством, не повторяющимся в других чистых способах). Чтобы признать гендиадис чистым способом словообразования, нужно найти его специфическое словообразовательное средство, которого, увы, нет. Но, может быть, гендиадис – это смешанный способ (то есть сочетание нескольких чистых способов, например, сложения и приставочного способа)? В таком случае у него должно обнаружиться и смешанное словообразовательное средство, например, единое ударение и префикс. Здесь нужно отметить, что подобное сложение имеет переходный характер: можно исследовать его и как синтаксический объект (части такого композита очень напоминают словосочетания с приложением), и как словообразовательный (аппозитивное сложение).

При ближайшем рассмотрении повтора-отзвучия (гендиадиса) со словообразовательных позиций оказывается, что здесь возможны как чистое аппозитивное сложение, так и комбинации с другими способами словопроизводства. Поэтому гендиадис лучше считать все-таки не самостоятельным способом словообразования, а стилистическим приемом, который осуществляется разными способами, в том числе разными способами словообразования. В настоящей статье сделана попытка типологии повторов-отзвучий по способу их образования, а также рассмотрены некоторые стилистические особенности. Данная типология не претендует на окончательную завершенность и вполне может быть дополнена другими исследователями.

При помощи чистого сложения образуются гендиадисы, части которых – общеупотребительные самостоятельные слова языка: *банка-склянка*, *жадина-говядина*, *лисичка-сестричка*, *марксизм-ленинизм*, *новатор-стимулятор* (пример В.П. Изотова), *травя-мурава*, *шайка-лейка*, *ушушка-утруска* и т.д.

Между тем, говоря о повторах-отзвучиях, обычно имеют в виду те, у которых вторая часть искаженно повторяет первую (*банка-шманки* и т.п.). На наш взгляд, именно здесь реализуются смешанные (комбинированные) способы словообразования (поскольку этих искаженных частей нет в языке как самостоятельных слов). При этом наблюдаются самые различные комбинации (хотя, конечно, большинство таких слов имеет в начале второго компонента сегмент *(ш)м-*: *тортики-шмортики*, *картошка-мартошка* и т.п.). Рассмотрим несколько возможных комбинаций:

суффиксально-сложный способ: *диссидент-отсидент*; *лягушка-кваушка*, *ужарка-уварка* (одна из частей – общеизвестное слово, другая образована при помощи суффикса); *чекизм-кегебизм* (обе части образованы при помощи суффикса);

приставочно-сложный способ: *\*тупой-претупой*, *\*тихо-натихо* (одна из частей – общеупотребительное слово, другая образована при помощи приставки);

сложно-фонетический способ (наиболее распространенный в устной речи): *кишимши-мишимши, банки-шманки, страсти-мордасти, палочка-выручалочка* и пр. (одна из частей – известное слово, другая образована присоединением фонемы или группы фонем, при сохранении смысловой связи с первой частью);

сложение в сочетании с креацией (изобретением слова, не имеющего в языке родственных (однокоренных) слов и не связанного по смыслу с первой частью): *коза-дереза, фокус-покус, павлин-мавлин, Метерлинк-Шметтерлинг* [В. Набоков], *танцы-шманцы* (одна из частей – общеупотребительное слово, другая – креатура); *шурум-бурум, фигли-мигли, трали-вали, эники-беники; тары-бары-растбары* (все части – креатуры);

сложение в сочетании с суффиксацией и креацией: *\*кегебизм-имеgebизм* (одна из частей образована при помощи суффикса, другая – креатура);

сложение в сочетании с фонетическим способом и креацией: *\*мордасти-шмордасти* (одна из частей образована присоединением группы фонем, другая – креатура).

Очевидно, возможны и другие комбинации (варианты сочетания чистых способов если небезграничны, то весьма многочисленны). Однако нашей целью не является полный учет всех смешанных способов, нам важно выявить самые основные для классификации и соответственно показать стилистическую сущность гендиадиса-отзвучия. В связи с этим можно сказать еще несколько слов.

В составе гендиадиса компоненты теряют самостоятельность: соотношение даже с узуальным словом зачастую оказывается случайным, хотя в окказиональных гендиадисах эта связь иногда объясняется автором. Реально значимым в гендиадисе становится созвучие компонентов. Основная функциональная нагрузка рифмы здесь – фасцинация, особенно ярко проявляющаяся, например, в “магических заклинаниях” в детских волшебных сказках (*Абра-швабра-кадабра! Вуни-пунни! Крэкс-пэкс-фэкс! Трок-шок-порошок! Чах-пах-чуравах!*), а также в различных считалках, дразнилках, скороговорках и т.д. Как верно замечает А.П. Журавлев в книге “Звук и смысл” (М., 1981. С. 115), в “бесмысленной” считалке *Онэ-донэ-рэс! Квинтэр-финтэр-жес! Онэ-донэ-раба / Квинтэр-финтэр-жаба*, ребенка “пленяет игра звуков, рифм и ритмов”. Здесь наблюдается перекрестный, многослойный гендиадис: внутрискладный с рифмой АБАБ, межскладный с рифмой ААББ, двойные повторения, из 12 фонетических слов лишь последнее соотносится с узуальным *жаба* и т.д.

Гендиадис нередко используется для уничижительной, негативной характеристики (*павлин-мавлин, вьюга-хренюга* [устн.]); ср. эвфемистическое *маслице-фуюслице* [А. Солженицын] и т.п. С другой стороны, гендиадисами можно считать и такие эвфемизмы, как *елки-палки*,

*ексель-моксель* и др. Гендиадис с позитивным (уменьшительно-ласкательным) значением также может эмоционально воздействовать на слушателя, вводя его в “детскую” речевую ситуацию (*палочка-выручалочка, папашка-букашка* и пр.).

Многие слова-гендиадисы уже вошли в норму. По данным толковых словарей, они имеют различные грамматические характеристики: *шурум-бурум* – существительное со склоняемым вторым компонентом; *трали-вали* – междометие; обе части *фигли-мигли* склоняются как существительное *pluralia tantum*, а существительное мн. ч. *тары-бары-растбары* не склоняется. Глагольных гендиадисов, видимо, в общеупотребительном языке не существует (среди окказиональных встречается, например, *чистить-блистить* [устн.], ср. встречающиеся в текстах литературной критики образования *перевернуть-перечеркнуть, читать-писать* [И. Скоропанова]; *оспорить-осмыслить-оплакать, означать-скрывать-сдвигать-маскировать-аннигилировать* [А. Немзер]; *читаться-писаться* [В. Курицын]).

Итак, главным критерием словообразовательного гендиадиса – со звуком конечных элементов его частей – определяются и структура, и способы его образования.

За термином *гендиадис* предпочтительно оставить его исконное значение стилистической фигуры, которая, как и другие тропы, может реализоваться средствами не только лексики и синтаксиса, но и словообразования.

Нижний Новгород



## Язык государственного управления: “наработки” и “подвижки”

*М. Н. ПАНОВА*

*кандидат филологических наук*

Изучение “языкового существования” современного чиновника его профессиональной картины мира может дать исследователю интересный материал. Целью нашего эксперимента, являющегося частью научно-исследовательской работы на тему “Языковая личность государственного служащего в России на рубеже столетий”, было описание ситуаций профессионального общения на государственной службе и выявление специфики речевой деятельности современного чиновника. Сотрудник одного из министерств записывал на диктофон свою речь и речь своих коллег в различных ситуациях профессионального общения на протяжении двух рабочих дней.

Объектом исследования было также и речевое поведение политиков. Политическая и управленческая деятельность имеют много общего. С одной стороны, в соответствии с Федеральным законом “Об основах государственной службы Российской Федерации” в государственных органах не могут создаваться структуры политических партий и общественно-политических движений. В то же время в структуре властных отношений в обществе государственная служба – это основное звено управления и организации, поэтому полностью оторванной от политики она быть не может.

Постоянные кадровые перемещения приводят к тому, что вчерашний госслужащий превращается в политика, и наоборот. Таким образом, разграничение этих видов деятельности – собственно политической и управленческой, административной – часто условно. И государственные служащие, и политики – важнейшие субъекты государственного управления.



Материал, полученный в результате проведенного эксперимента, а также анализа выступлений политиков в СМИ, свидетельствует о том, что в речи политиков и госслужащих много общего: их роднит, в первую очередь, инвентарь используемых языковых средств, в частности, – лексических единиц.

Статья представляет собой анализ функционирования некоторых приставочных глаголов и глагольных форм (причастий, отглагольных существительных) в языке политиков и чиновников.

Профессиональное общение на государственной службе бывает публичным и межличностным. Оно осуществляется в различных ситуациях, среди которых можно выделить: строго официальные, менее официальные и ситуации полуофициального повседневного общения. В устной речи информанта – госслужащего и его сослуживцев – отмечен высокий удельный вес глаголов и глагольных форм: *подключить кого-л.* (привлечь к участию в работе), *расписать кому-либо по отделам или в отдел* (направить приказ, распоряжение сотрудникам отдела), *разослать новые сроки* (разослать информацию об изменении сроков проведения чего-либо); *снять вопрос: узнать по поводу чего-л.* и др.

Рассмотрим те из глаголов, которые характерны также и для языка политиков:

– с приставкой *ОТ*: *отксерить, отследить, отозвать* (документ);

– с приставкой *ЗА*: *загрузить кого-л.* в значении “дать задание” (*загрузить сотрудников*), *задействовать кого-л.* в значении “привлечь кого-л. к участию в какой-л. деятельности” (*задействовать сотрудников отдела*), *заиметь что-л.* (*заиметь здания*), *завизировать что-л.* (*завизировать вариант договора*), *запросить что-л. у кого-л.* (*запросить информацию у тех структур, которые этим занимаются*);

– с приставкой *НА*: *нагрузить кого-л.* в значении “дать много поручений, заданий, сообщить большой объем информации” (*нагрузить подчиненного*), *набить что-л.* (*набить текст в Word'e*); *наработать что-л.* (опыт, наработанный при заключении документов такого типа);

– с приставкой *ПРО*: *прописать что-л. где-л.* (*прописать в законе, прописать в функциях Совета, в законе это прописано*); *проинформировать* (*проинформировать депутатов*), *проработать что-л.* (*проработать вопрос, вариант законопроекта проработан вместе с вашими коллегами*), *проговорить что-л.* в значении “обсудить” (*проговоренные нами вопросы*), *профинансировать что-л.* (*профинансировать восстановительные работы*), *проплатить* в значении “выделить деньги на какие-л. нужды” (*проплатить из бюджета*), *проголосовать кого-л., что-л.* вместо “проголосовать за кого-л. за что-л.” (*проголосовать кандидатуру, закон*), *пробуксовывать* (*реформа пробуксовывает*), *прозвонить* вместо “позвонить” (*я тебе прозвоню*).

Интересно отметить, что глаголы с приставкой *ПРО* используются в различных сферах профессиональной деятельности: *пронюхать запахи* (парфюмерия), *протушить пожар* (пожарная служба), *продиржировать симфонию* (музыка), *пропить курс лекарств, пропить препарат* (медицина). Из перечисленных слов только глагол *продиржировать* зафиксирован словарями и является элементом модифицированного языка. (см. Большой толковый словарь русского языка. СПб., 2000, далее БТС и Словарь современного русского литературного языка в 17 томах, далее ССРЛЯ. В Словаре русского языка С.И. Ожегова (М., 1991 – далее СРЯ) глагола *продиржировать* нет).

Полюбились чиновникам и политикам и такие отглагольные существительные, как *наработки, подвижки, задумки*: “у нас имеются солидные *наработки*”, “в следующем году в экономике ожидаются *подвижки*”, “*интересная задумка*”.

Принимая во внимание позицию Т.И. Ерофеевой, считающей, что в речи людей, занимающих номенклатурные должности, профессионализм меньше, чем в речи людей, непосредственно занимающих производственной деятельностью (Ерофеева Т.И. Стратификационная обусловленность владения профессионализмом // Антропоцентрический подход к языку. Ч. 2. Пермь., 1998. С. 156), мы тем не менее полагаем, что в настоящее время активно развивается и пополняется новыми элементами профессиональный язык чиновников и политиков – политико-административный жаргон. Он формируется на основе сложившегося в советское время языка партийных и советских функционеров, или “аппаратчиков”, являясь его преемником.

Его составляющие – это, во-первых, слова, входящие в литературный язык и употребляющиеся как в устной, так и в письменной речи, например, *отследить, профинансировать, отозвать, завизировать, пробуксовывать*. Они используются во всех ситуациях профессионального общения на госслужбе и в речи политиков. В силу своей семантики они и употребляются преимущественно в данном жаргоне.

Как видно из приведенных примеров, многие из лексических единиц имеют стилистически сниженный оттенок. Это слова, которые относятся к разговорному варианту литературного языка или просторечию, например: *отксерить, занять, нагрузить, наработать, наработки, проработать, задумки*.

Существительные *задумки* и *наработки* в приведенном выше значении в БТС имеют помету *разг.* Неся разговорный характер и конструкции, для которых характерна экономия языковых средств: *отправить кого-л.* (отправить кого-л. в отставку), *отобрать у кого-л. что-л.* например, *отобрать выставку* (отстранить кого-л от участия в выставке), *включить кого-л. во что-л.*, например, *включить кого-л. в выставку* (привлечь кого-л к участию в организации выставки).

Отдельные элементы рассматриваемого жаргона изначально связаны со специальными областями деятельности. Некоторые из них встречаются только в ситуациях полуофициального общения, однако многие – и в официальном общении, и в публичной речи. Например, глагол *проплатить* в значении “перечислить деньги через банк для оплаты чего-л.” фиксируется в БТС с пометой *финанс. (проплатить выставленный счет)*.

К рассматриваемой группе слов относятся также существительное *подвижки* и глагол *озвучить*. В БТС – употребление существительного *подвижки* иллюстрируется примерами типа “подвижки машины”, “подвижки земной коры”, но это слово, имеющее специальное значение, за последнее десятилетие “расширило свое значение за счет социальных и политических контекстов (подвижки в области российско-американских отношений)” (Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М., 2001. С. 84).

Глагол *озвучить* широко употребляется в рассматриваемом жаргоне в значении “произнести, назвать, сообщить”, например, “озвучить точку зрения”, а в БТС его значение определяется как “произвести запись фонограммы к кинофильму (музыки, дикторского текста, шумов)” и сопровождается пометой *проф.* В нашей картотеке есть и такой пример из законотворческой практики парламентариев:

«Председательствующий (предлагая депутату высказать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу):

“Пожалуйста, депутат Д.”  
Депутат: “Озвучили уже”».

Как справедливо отмечают авторы книги “Не говори шершавым языком”, использование глагола *озвучить* в значении “произнести” «является грубым нарушением нормы, искажающим законы сочетаемости слов и эстетически оскорбляющим слух носителя русского языка, но в этом ошибочном своем употреблении он так полюбился некоторым политикам и журналистам, что стал принадлежностью, своеобразным знаком политико-публицистического “жаргона»” (Горбаневский М.В., Караулов Ю.Н., Шаклеин В.М. Не говори шершавым языком. М., 1999. С. 161).

К единицам данного профессионального жаргона относятся и слова, у которых современные словари отмечают другие значения, а смыслы, актуальные для рассматриваемой сферы, в них можно идентифицировать с трудом. Это, например, глагол *прописать*. БТС отмечает семь значений этого глагола, из которых близко по значению к элементу жаргона только пятое, с пометой *нар.-разг.* (прописать в письме). В ССРЛЯ у этого глагола отмечены шесть значений, среди них с пометой *устар. и разг.* приводится значение, актуальное для по-

литико-административного жаргона: “заносить, заключать кого-л., что-л. в документ, список, книгу и т.п., записывать (*он объяснил ей, что... души будут прописаны как бы живые*)”. В БТС из пяти отмеченных значений глагола *прозвонить* ни одно не соответствует актуальному в политико-административном жаргоне – *позвонить, дозвониться*. Глагол *проговорить* в значении “обсудить” в словарях не отмечается вообще. Таким образом, в рассматриваемой группе лексических единиц может быть другая по сравнению с литературным языком актуализация значений, что характерно для любой профессиональной речи. Заметим, однако, что, например, глагол *прописать* в указанном значении употребляется очень активно не только в полуофициальных, но и в более официальных ситуациях служебного общения, в публичной речи депутатов.

Ряд анализируемых глаголов имеет иное, чем в литературном языке, грамматическое управление или грамматическую форму: *высказаться, определиться, задействовать кого-л., проголосовать кого-л., нагрузить кого-л.* Так, переносное значение глагола *нагрузить кого (что) чем*, отмеченное словарями, – “возложить на кого-н. (дополнительную) работу, обязанность”. В языке рассматриваемой профессиональной группы он употребляется без дополнения в творительном падеже (*он меня нагрузил*). Характерной чертой политико-административного жаргона является и ненормативное абсолютное (без дополнения) употребление глаголов *определился* (вместо “определить чью-л. позицию по какому-л. вопросу”) и *высказаться* (вместо “высказать свою точку зрения по какому-л. вопросу”). Например, “мы должны определиться”, “мы сразу определяемся”, “я предлагаю без дискуссии поставить это на голосование и просто определиться”, “правительство хочет высказаться по этой поправке”. Кстати, конструкции с предлогом *по* – тоже примета рассматриваемого жаргона.

Или, например, глагол *задействовать*. В словарях он фиксируется как переходный только с неодушевленным объектом – “задействовать что” в значении “вести в действие, привлечь к использованию” (*задействовать оборудование, методы*). Сейчас он активно используется даже некоторыми телеведущими с одушевленным объектом: “задействовать кого-л.” (*задействованные для ликвидации пожарные и спасатели*), будто речь идет исключительно о средстве, орудии. Такое употребление этого глагола не является чем-то новым, он использовался комсомольскими функционерами еще 30 лет назад. Фраза “мы тебя задействуем” связана в памяти автора статьи с годами учебы и активной общественной работы. Ностальгические воспоминания о комсомольской юности не противоречат рациональному отношению к тому периоду, когда в общественное сознание внедрялись представления о главном предназначении человека – быть активным участником строительства коммунизма. Еще раньше, в эпоху раннего тотали-

таризма, в государственной идеологии господствовала метафора “человек – винтик производства”, позднее возник доморощенный, предельно идеологизированный термин “человеческий фактор” (Культура парламентской речи. М., 1994. С. 63). Не случайно подобные слова и словосочетания составляют ядро лексикона политиков и чиновников.

Не случайно и то, что в своей речи чиновники и политики вообще употребляют так много глаголов и глагольных форм. Специфика анализируемого жаргона заключается в том, что устная служебная и политическая речь – это речь, обладающая установкой, направленностью на реализацию соответствующего результата.

Речевая интенция публичного служебного общения – сообщить официальную информацию, отдать распоряжение, убедить аудиторию и мобилизовать ее для выполнения определенной работы. Задача межличностного служебного общения – определить стратегию и тактику деятельности и обсудить ее с коллегами, добиться соответствующего результата, при этом проявить себя квалифицированным и компетентным сотрудником, достойно выглядеть в глазах коллег и в первую очередь – в глазах непосредственных руководителей, поскольку от этого зависит продвижение по службе. Эмоциональная составляющая приставочных глаголов – напористость, энергичность, подчеркнутая деловитость – близка носителям политико-административного жаргона. Именно поэтому для него характерны семантические поля “действие/деятельность” и “результат деятельности и его оценка”, которые образуют глаголы (в основном, приставочные) и глагольные формы.

Особенностью рассматриваемого жаргона является и тот факт, что “входящие в него слова и словоформы выполняют особую социопсихологическую роль, служа для использующих их приметой принадлежности к одному кругу тесно взаимодействующих (взаимодействующих не только кооперативно, но и находящихся на разных позициях в этом взаимодействии) и понимающих друг друга людей” (Горбаневский М.В. и др., см. указ. соч. С. 161).

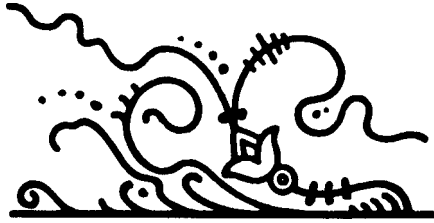
Как уже отмечалось, многие элементы речи чиновников и политиков имеют разговорный характер. Несмотря на это, они активно используются и в СМИ, в том числе журналистами, ведущими информационные программы на телевидении. Это связано не только с основной тенденцией развития современного русского языка – демократизацией, со стилистическими процессами нейтрализации разговорной лексики, но и с тем влиянием, которое, судя по всему, оказывают представители политической элиты и государственные служащие, часто выступающие в СМИ, на речевое поведение многих людей, далеких от сфер управления и политики.

Политико-бюрократический жаргон заразителен. Журналисты копируют стиль политико-управленческого “истеблшмента”, “приучая” к нему общество, делая его примером для подражания. Как известно, выбор определенных слов и выражений – один из инструментов речевого воздействия на общественное сознание. Рассмотренные выше слова также участвуют в формировании информационного пространства, в котором живет современный человек. “Язык – это наиболее стабильный инструмент управления и очевидный носитель общественного сознания...” (Комлев Н.Г. Книжное обозрение. 1998. № 34).

Известный чешский писатель Милан Кундера называет идеологизированную лексику и фразеологию, широко распространенную в бывшей в социалистической Чехословакии, политическим китчем. Политические движения, считает писатель, строятся не на рациональных подходах, а на представлениях, образах, словах, архетипах, которые все вместе создают тот или иной политический китч. “Идентичность китча обуславливается не политической стратегией, а образами, метафорами, словами” (М. Кундера. Невыносимая легкость бытия).

Можно сказать, что многие единицы рассматриваемого профессионального жаргона стали в какой-то мере элементами политико-бюрократического китча.

Ю.Н. Караулов выделяет в структуре языковой личности три уровня: лексикон, или вербально – грамматический уровень, тезаурус, в котором представлен “образ мира” данной личности, и прагматикон, то есть систему ее целей, мотивов, установок. При этом он отмечает, что на практике “взаимопроникновение этих уровней оказывается настолько сильным, что границы между ними размываются” (Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 2002. С. 238). По нашему мнению, перед нами как раз такой случай. Активное употребление в политико-административном жаргоне рассмотренных нами глаголов и глагольных форм демонстрирует не только словарный запас политика или государственного служащего, но и систему его представлений о мире, а также его профессиональные цели, задачи и ожидаемые результаты.



## Цельй – цельный – целостный

В. И. КРАСНЫХ,  
кандидат филологических наук

Из трех указанных паронимов старейшим является прилагательное *цельй*. Впервые это слово было официально зарегистрировано почти четыреста лет тому назад (в 1627 г.) в Лексиконе славянорусском Берынды. За прошедшее время оно прочно укоренилось в русском языке, приобрело много лексических значений и их оттенков, вследствие чего обладает широкой сочетаемостью с существительными различных семантических групп. Современные толковые словари указывают от четырех до шести значений этого слова, не говоря уже о различном количестве выделяемых оттенков значений. При этом в ряде случаев наблюдается некоторая непоследовательность и противоречивость в толковании этого прилагательного. Анализ собранных примеров позволяет выделить следующие шесть лексических значений (с оттенками) этого паронима, которые будут проиллюстрированы многочисленными предложениями, а также цитатами из художественной литературы и публицистики:

1. *Только полная форма*. Такой, от которого ничего не убавлено, не отделено; полный (о емкостях); в полном составе, без изъятий (о совокупности людей); весь от начала до конца (о промежутках времени, расстояниях и т.п.). Съесть *цельй* арбуз. Зажарить на костре *целого* барана; “*Целое* донорское сердце пришивалось к остаткам собственного” (Итоги. 1997. № 50); “*Целье* участки леса были съедены гусеницей и заплетены паутиной” (К. Паустовский. Клад); Сварить *целую* кастрюлю борща. Выпить *целую* банку молока. Набрать *целую* корзину грибов. Сотрудники института ездили летом на пикники *цельми* семьями; “Цветовая палитра китайских изделий вошла в сознание *целого* поколения” (Домашний очаг. 1999. Июль); “Лапа его (медведя) распухла и болела, и *цельй* день он не мог тронуться с места” (Ю. Казаков. Тэдди); “Мы *цельй* год думали, разводиться нам или нет, все не могли решиться” (Профиль. 1999. № 2); Пригородный ав-

тобус сломался и *целых десять километров* нам пришлось идти пешком.

2. *Только полная форма.* Большой, значительный (о совокупности каких-л. предметов, живых существ, действий). Выстирать *целую* грудку грязного белья. Собрать *целую коллекцию* редких марок. Купить *целый набор* столярных инструментов. “*Целый класс* слов не только подвергся переоценке, но и выпал из активного фонда языка газет...” (Русская речь. 1998. № 3); “Как видим, царский гараж располагал *целым парком* прекрасных машин” (Обозреватель. 1994. № 3); Около стадиона собралась *целая толпа* болельщиков, оставшихся без билетов. Вечером на веранду налетела *целая туча* комаров; “Саратовский губернатор Аяцков держит у себя *целый зверинец*” (АиФ. 1999. № 41); Правительство приняло *целый комплекс мер* по снижению налогов; “Должна быть разработана *целая система мер* помощи малоимущим” (Известия. 1999. 17 июня).

3. *Только полная форма.* Внешне похожий на что-л. по своей сущности, значимости; настоящий. У нее получилась не обычная курсовая работа, а *целый трактат*. Правильно заваривать чай – это *целая наука*. Они не виделись всего три месяца, а им казалось, что прошла *целая жизнь*. “Найди отправную точку для размышлений, Настя Каменская начала готовиться к работе. Это был *целый ритуал*” (А. Маринина. Стечение обстоятельств); “Примет так много, что о них можно было бы написать *целую книгу*” (К. Паустовский. Мещорская сторона); “В Америке быстро растет число кумиров, на это работает *целая индустрия*” (Комс. правда. 1999. 9 июля); “В ресторане я подготовила *целую речь*, а теперь не знала, с чего начать” (Т. Полякова. Я – ваши неприятности); “Затаенной и, конечно, недостижимой его (Турченко) мечтой была охота на тигра. Он собрал даже *целую библиотеку* об этом благородном спорте” (А. Куприн. Черная молния).

4. Не поврежденный, не разрушенный; не пропавший, не исчезнувший. После нескольких бомбардировок города лишь немногие дома остались *целы*. Наводнение разрушило дамбу и мосты, но памятник на берегу реки оказался *целым*. Котенок, играя, прыгнул на стол и разбил несколько бокалов и рюмок, однако хрустальная ваза с цветами осталась *целой*. Воры похитили деньги и золотые украшения, но картины и документы были *целы*.

5. Не раненый, здоровый, невредимый. Отец вернулся с фронта *целым* и невредимым. Во время пожара школы все ученики остались *целы*: учителя успели вывести их из здания.

6. *Только полная форма. Спец.* Не содержащий дроби. *Целое число*. *Целая величина*.

Как видно из приведенных речений и цитат, наиболее широким является круг сочетаемости прилагательного *целый*, когда оно употребляется в первом значении, поскольку это значение является совме-



ценным. При этом интересно отметить, что здесь функция паронима *цельный*, указывающего на полноту охвата чего-л., фактически сближается с функцией определительного местоимения *весь*.

Прилагательное *цельный* вошло в состав русского языка почти на 150 лет позднее, чем *цельный*. Впервые оно было отмечено в Лексиконе российском и французском 1762 г., а затем – в Российском Целлариусе 1771 г. У этого паронима в настоящее время можно выделить следующие три значения:

1. *Только полная форма*. Состоящий, сделанный из одного куска; сплошной, монолитный. *Цельная плита, глыба, труба. Цельное бревно. Цельный кусок чего-л. Цельное удилице*. “Большой книжный шкаф из *цельного дуба*... казался не таким уж громоздким под высокими потолками старинного дома” (Г. Семенов. Звезда английской школы); “Настя машинально отметила, что это не *цельное дерево*, а шпон” (А. Маринина. Я умер вчера); “Внутри двора стоял красивый каменный особняк с *цельными* зеркальными окнами, с массивными дубовыми дверями без обычной медной дощечки” (А. Куприн. Гога Веселов).

2. *Только полная форма*. Незабавленный, натуральный. *Цельное молоко. Цельные сливки. Цельное вино*.

3. *Перен.* Лишенный раздвоенности, внутренне единый; целостный: “Лариса была очень *цельным*, очень трогательным и незащищенным человеком” (М. Арбатова. Мне 40 лет...); “Естественно, что в такой семье рождались *люди цельные*, крепкие, физически сильные” (К. Паустовский. Дядя Гиляй); “В ее (Катерины) молчаливости, сдержанности, в легко срывающемся с губ смехе чувствовалась *цельная* и свежая натура” (Ю. Нагибин. Ночной гость); “Лидер должен быть обаятельной, яркой, *цельной личностью*” (П. Дашкова. Образ врага); “Персонажи Гоголя – это колоритно обрисованные *цельные характеры*” (Русская речь. 1998. № 3); “Я же, как ни старался, так и не мог нарисовать для себя *цельную*, без белых пятен, картину” (В. Винокуров, Б. Шурдин. Следы в Крутом переулке); Создать *цельный образ* кого-л. Произвести на кого-л. *цельное впечатление*. Обладать *цельным мировоззрением*.

Таким образом, мы видим, что круг существительных, с которыми сочетается пароним *цельный* (особенно во втором значении), весьма ограничен и вряд ли имеет тенденцию к расширению.

Что же касается третьего члена данного паронимического ряда – прилагательного *целостный*, то оно впервые было зарегистрировано в Словаре Академии в 1847 г. Его значение синонимично третьему значению паронима *цельный* и обычно (с некоторыми вариациями) толкуется следующим образом: “Обладающий внутренним единством, воспринимающийся как единое целое; *цельный*”. Практически полностью совпадает и круг сочетаемости этих двух паронимов с су-

ществительными: *целостный (цельный) человек; целостная (цельная) личность, натура; целостный (цельный) характер, образ; целостное (цельное) впечатление, высказывание, мировоззрение, представление; целостная (цельная) программа, концепция, картина, теория, операция* и т.п. Для большей наглядности, помимо речений, приведем еще несколько цитат с прилагательным *целостный*:

“Я был в Германии в тяжелые для него (М. Горбачева) минуты. Это сильный и интеллектуально *целостный человек*, внятно анализирующий ситуацию” (Мир за неделю. 1999. № 8); “Следователь пытается воспроизвести *целостную картину мира...*” (Профиль. 1998. № 2); “В трилогии Симонов стремился создать целостное представление об Отечественной войне” (А. Кривицкий. Елка для взрослого); “Фундаментальной научной задачей авторов пособия было создание *целостной* стройной *концепции* культуры русской речи” (Русский язык в школе. 1999. № 1); “Разрабатывалась *целостная операция*, в которой участвовало немало людей” (Моск. новости. 1997. № 51).

Резюмируя сказанное, можно констатировать, что старейшим и наиболее употребительным членом рассматриваемого паронимического ряда является прилагательное *цельный*, которое имеет много значений и очень широкий круг лексической сочетаемости с существительными. Два других паронима – *цельный* и *целостный* – менее употребительны и сочетаются с более узким кругом существительных. При этом прилагательное *цельный* в третьем значении является синонимом прилагательного *целостный*.

## Виснет ли брань на воротах?

### Как мы коверкаем фразеологизмы

Э. Д. ГОЛОВИНА,

кандидат филологических наук

Образные устойчивые словосочетания, или фразеологизмы, – одно из самых ярких и востребованных выразительных средств нашего языка.

Как и языку в целом, русской фразеологии свойственна семантическая и формальная вариантность, однако выход за допустимые пределы варьирования, не обусловленный художественными задачами (сознание комического эффекта и т.п.), чаще всего объясняется недостаточной языковой компетентностью говорящего или пишущего и должен квалифицироваться как нарушение норм современного русского литературного языка.

Живая русская речь наших дней, как устная, так и письменная, изобилует ошибками, которые связаны с употреблением того или иного фразеологизма и могут быть классифицированы следующим образом.

1. Искажение морфологической структуры фразеологизма: тихим *сапом* (тихой сапой), ни на *йот* (йоту), в *табеле* о рангах (в табели), кондрашка *хватила* (хватил), сбоку *припеку* (припека), *рога* изобилия (роги), поднять на *щиты* (на щит), попасть под *руки* (под руку), нечистоплотные на *руки* люди (на руку), приложить к открытию *руки* (руку), никто на ребенка *рук* не поднимал (руки), поймать за *руки* удаётся немногих (за руку), все ломают *головы* над задачей (голову), без *зазрений* совести (без зазрения), многое осталось за *кадрами* (за кадром), из *гуц* народных масс (из гуци), *притча* во языцах (во языцах), проникнуть в *тайную* тайных (в тайная), попасть в *святую* святых (в святая), *многие* лета имениннику (многая), и вся *недолгая* (недолга).

2. Искажение синтаксической структуры фразеологизма: деньги правят *балом* (бал), бизнесмен ворочает *дела* (делами), не надо *тешить иллюзии* (тешиться иллюзиями), учителя только разводят *руки* (руками), согреть руки *от торговли* (на торговле), завоевать *с огнем и мечом* (огнем и мечом), *с семьей нянями* во лбу (семи пядей) и т.д.

Невозможно пройти мимо ошибок в употреблении словосочетания “власти предрержащие”. На эту тему острую и убедительную статью

написал Ю.Л. Воротников: “И еще раз о *властях предержажих*” (Русская речь. 2002. № 4). Особенно часто встречаются отступления от синтаксической нормы в этом обороте в современной газетной публицистике. Во-первых, это использование синтаксической связи управления (вместо согласования) со стержневым словом “предержажие” – очевидно, под влиянием фразеологизма “власть имущие”, например: “Хочется крикнуть *предержажим* большую и маленькую *власть*: порадауйте!” (Семья. 1989. № 9); “Почему так торопятся *власть предержажие*?” (МК. 1999. 6 окт.); “...эффективный контроль за *власть предержажими*” (НГ. 1994. № 105); “Причины для этого у *власть предержажих* (так! – Э.Г.) структур существуют” (Права человека в провинции. Нижний Тагил. 1996).

Во-вторых, это использование управления вместо согласования, но со стержневым словом “власть” (власть кого?), например: «перекладывание вины с *власти предержажих* на движение “зеленых”».

В-третьих, это использование связи согласования, но с употреблением слова *власть* как одушевленного существительного: «Если бы всех *властей предержажих*, у которых “рыльце в пушку”, немедленно снимали бы с должностей, то вскоре, может, некому бы стало руководить Америкой» (Комс. правда. 1991. 13 дек.); “Нужны были люди, способные вести достойную игру, махинаторы, обогащающие и себя, и *властей предержажих*” (ЛГ. 1988. 20 янв.).

Нормой же здесь является употребление оборота с согласованием компонентов при осознании существительного *власть* как грамматически неодушевленного: *власть предержажая*, *власти предержажие*, *властям предержажим*, *на власти предержажие* и т.д.

3. Неправомерное расширение состава фразеологизма: был под *основательным* хмельком, ремонт обошелся в *большую* копейку, я этого до *своего* гроба не забуду, крестьян довели до *такой* ручки, поставить *окончательную* точку, принял *первое* боевое крещение, он сам себе на уме, Рубикон перейден до *предела*, поднять *курам* на смех и т.д.

4. Пропуск необходимого компонента: молодогвардейцы не теряют духа (*присутствия* духа), у меня сразу отлегло (*от сердца*), умеет найти язык с пассажирами (*общий* язык), вешал лапшу судебным органам (*на уши*), встают на защиту своего мундира (*чести мундира*), решили раз в жизни обвести государство (*вокруг пальца*), никогда не обидит человека, не поранит (*душу*), забастовка на издыхании (*на последнем издыхании*).

5. Замена компонента созвучными однокоренными словами (паронимами): не *встряхнуть* ли стариной (не *тряхнуть* ли)?, французы *превращались* в бегство (обращались), кормили нас как на *отбой* (на *убой*), дружба *трескается* по швам (трещит), в копейку *вылетает* и электроотопление (влетает), покупка *обоилась* боком (вышла), МВФ

*загибает* палку (перегибает), нельзя *отпускать* руки (опускать), *опуститься* со своего Олимпа (*спуститься*), спустили здание с молотка (пустили), русские парни в *горящих* точках (в горячих).

6. Замена компонента сходными по звучанию или по структуре неоднокоренными словами (парономазами): хоть кол на голове *чеши* (теши), *мировые* язвы современности (моровые), фиговый демократический *лепесток* (листок), привыкнуть *скрипя* зубы (скрепя), пока *суть* да дело (суд), попал как кур в *оцип* (во щи), это не *простой* звук (пустой), на *юру* и смерть красна (миру), не от мира *всего* (сего), *решишься* ума (лишиться), *тратить* нервы (трепать), *поперек* батьки лучше не прыгать (поперёд), *воленс-неволенс* (воленс-ноленс), в физике я *ни гу-гу* (ни бум-бум), *Гришкин* кафтан (Тришкин), *Авдеевы* конюшни (Авгиевы), *Гордеев* узел (Гордиев).

7. Замена компонента семантически сходными словами (синонимами или квазисинонимами, то есть сближениями по смежности понятий): играть *главную* скрипку (первую), птица *большого* полета (высокого), это *смертельный* грех (смертный), *покоиться* на лаврах (почивать), звезд с неба *не срываю* (не хватаю), семи пядей *в голове* (во лбу), *лелеять* надеждами (лешить), *обнеси* нас чаша сия (минуй), *любит* быть *в поле* внимания (в центре), *смягчить* пилюлю (позолотить), *разжевывать* все по полочкам (раскладывать).

Исследователями зафиксированы также случаи неправомерной замены сразу двух компонентов в составе фразеологизма, например: Речи Чацкого – *крик вопящего* в пустыне (глас вопиющего); Герой восстает, как *Феликс из пекла* (Феникс из пепла).

При употреблении устойчивых оборотов в устной речи нередки нарушения акцентологических норм, например: губа́ не дура, хоть ша́ром покати, голова идет круго́м, на радостя́х, за здорóво живешь, не рóвен час, за обе щё́ки, из огня да в полы́ма, Авгíевы конюшнi и т.п.

Кроме того, говорящие и пишущие не всегда понимают значение употребленного ими фразеологизма или отдельных его компонентов, например: *актерам палец в рот не клади* – дай только посмешить, мысленно ругались *благим матом*, учились *на живой нитке*, водитель решил *скоротать время* и выехал на переезд, *сизифов труд* увенчался успехом, старушка *бальзаковского возраста*, *покусывать* от зависти *локти*, кануть *в лета*, мать задаст ему *стрекача*, брань на *ворогах* не виснет.

Известно выражение *От искры сыр-бор загорелся* (говорится о крупной разладице из-за пустяков) (М.И. Михельсон. Русская речь: Свое и чужое: Опыт русской фразеологии: В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 352). Исходный смысл выражения в том, что маленькая искра – причина пожара в сыром, трудновоспламеняющемся лесу, то есть пустяк способен накалить обстановку, разжечь нешуточные страсти.

Бездумным употреблением оборота “сыр-бор загорелся” обусловлена многовариантность этого словосочетания в СМИ нашего времени: “Сыр-бор *произошел* из-за разногласия сторон при подписании нового контракта” (ОГ. 1998. № 34); “Из-за чего вообще *возник* сыр-бор в нижней палате?” (АиФ. 2000. № 39); “Стоит ли *затевать* весь сыр-бор? (ЛГ. 1982. 28 июля); “А сыр-бор о дележе *не утихал*” (Вятский наблюдатель. 1996. № 62); “Так *в чем же* сыр-бор?” (Вятский край. 1999. 28 июля).

Что касается выражения “из-за чего сыр-бор?”, ставшего сегодня нормой, то сложилось оно, вероятнее всего, под влиянием ассоциаций с близким по смыслу оборотом “из-за чего шум-гам?”, хотя, строго говоря, частеречный статус их компонентов не тождествен.

О непонимании значения и структуры литературного фразеологизма *иже с ним (с ними)* (“Иже, *мест. Устар.* Который, которые. И *иже с ним (с ними)* (*ирон.*) – и те, которые с ним, и его единомышленники”) говорят такие его трансформации в газетных текстах, как: «Лев Новоженев и *иже с ним* “Сегоднячко” перебираются всей бригадой на канал ТНТ» (АиФ. 2000. № 36); “Откровения не новы, только это не обман – спят во мне два Казановы *иже с ними* дон Хуан” (Лит. Россия. 1991. № 44); “В стране развитого социализма нет социальной основы для преступности, проституции и *иже с ними*” (Контакт. 1986. № 15).

Весьма своеобразно используют некоторые авторы инверсионное по форме крылатое словосочетание “лица необщим выраженьем”. Его источник – строчки стихотворения Е. Баратынского “Муза”:

Но поражен бывает мельком свет  
Ее лица необщим выраженьем,  
Ее речей спокойной простотой...

«Кировчане стали читать “Вятский наблюдатель” тогда, когда он был газетой “лица необщим выраженьем»» (Новый вариант. 2002. № 11); «Надеюсь, что в нелегкой работе по возрождению экономики и духовности нашего вятского края и власть, и пресса, нередко именуемая “четвертой властью”, оставаясь “лица необщим выраженьем”, будут едины в главном» (Вятский край. 1998, № 6).

Авторская трансформация узуальных общеязыковых фразеологизмов – излюбленный художественный прием А. Чехова, В. Маяковского, В. Высоцкого и других мастеров слова. Однако в языке СМИ конца XX – начала XXI века “фразеологические новации”, как правило, выходят за рамки литературной нормы. Чаще всего такие новообразования возникают в результате контаминации сходных узуальных фразеологизмов, в частности, нижеследующих:

*Открывать Америку – изобретать велосипед*: “У каждого, даже начинающего учителя есть свои находки, идеи. Если хоть одной из них

поделимся друг с другом, не нужно будет *открывать велосипед*” (Учит. газета. 1988. 27 авг.); *мерять на один аршин – стричь под одну гребенку*: “Меряем всех под одну гребенку. Заболел, значит, ты человек аморальный и что с тобой разговаривать” (Комс. правда. 1989. 6 авг.); *нет сносу – не стало спасу (спасенья)*: “Ну, а когда поползли слухи о намечающемся сокращении штатов в вышестоящих штабах, от проверяющих прямо сносу не стало” (Аврора. 1990. № 11); *кусок не идет в горло – как кость в горле*: “Ну не идет в горло кость, когда кругом неустроенность” (Итоги. 1996. № 30); *как отрезало – как рукой сняло*: “Еще недавно Валентина Ивановна Проценко считалась одним из лучших педагогов начальных классов. Возглавляла несколько лет методическое объединение в школе. И вдруг как рукой отрезало” (Учит. газета. 1988. 12 янв.); *зайти в тупик – прийти в замешательство*: “Попытался выяснить у воинственного бухгалтера, какая же прибавка к оплате, на ее взгляд, справедлива, – собеседница пришла в тупик” (Неделя. 1989. № 30); *бряцать оружием – играть мускулами*: “При этом вовсе для этого необязательно бряцать мускулами или кому-то угрожать войной” (Киров вечерний. 1999. № 11); *отлынивать от дела – увиливать от ответа*: “Руководители только и делают, что отлынивают от ответа и посылают друг к другу” (Наш вариант. 2000. 3 февр.); *не стоит гроша – не стоит выеденного яйца*: “Всё это не стоит гроша выеденного” (ТВ. 1997. 13 апр. Р. Хасбулатов).

Пестрит подобными примерами и современная живая разговорная речь: *лед тронулся с мертвой точки (сдвинуться с мертвой точки и лед тронулся)*, *верность по гроб доски (по гроб жизни и до гробовой доски)*, *хоть тын-трава не расти (всё тын-трава – хоть трава не расти)*, *заварился сыр-бор (загорелся сыр-бор и заварилась каша)*, *каша терпения лопнула (терпение лопнуло и каша терпения переполнилась)* и т.д.

Владение фразеологией того или иного языка является своеобразным тестом, определяющим степень знания данного языка. Чтобы не нарушать норм современной речи, следует обращаться к фразеологическим словарям, выбор которых значительно расширился в последние годы.

Киров

## ГРАФИЧЕСКИЕ ИГРЫ

В. И. МАКСИМОВ

доктор филологических наук

Графика – это система всех средств письменности, учитывающая отношения между устной речью и письменной. Основными средствами графики являются буквы и знаки препинания; к ним относятся также знак ударения, разнообразные сокращения, пробелы между словами, отступы, прописные буквы, различного рода шрифтовые выделения.

В публицистике, в рекламах сейчас мода на графические игры. Исполнители присваивают своим группам наименования, преднамеренно отступая от существующих правил (“Аукцион”, “Марродеры”), на вывесках кириллица перемежается с латиницей (*multigames*, *sportтовары*), смешивается употребление строчных и прописных букв (*Био-РИТМ*, *МузМетель*), слова графически делятся по усмотрению пишущего (*У-личный* каприз) – не разрушается ли смысл от такого произвольного членения слова?; *Ки-Новости* – то ли это означает “ключевые, главные новости”, если иметь в виду, что английское *key* по-русски звучит, как [ки], то ли это результат наложения на конечный слог слова *кино* начального слога существительного *новости*. И все это для того, чтобы привлечь внимание потребителя, читателя. К тому же нередко увлечение написаниями без пробелов: «Сказано русским языком, – поддразнил меня “дерьмодав”, – нам нужен **Бояров-Александр-Евгеньевич**. В его скороговорном, без пауз, произнесении фамилии-имени-отчества просквозила презрительность: мы – власть, а ты ничего, и у тебя даже не фамилия-имя-отчество, а ФИО, понял?; Благо я лишен совдеповских “изгрязивкняжеских” замашек, придерживаясь правила “каждый на своем месте...” – вот и в прежний, более благоприятный период жизни ни в коем случае не позволял себе подзывающим “чаека” щелчков пальцами» (В. Барковский);

Се ля ви – это по-французски.

Я был во франции.

Также как цело мряде других интересных мест.

(А. Вознесенский)

О все большем использовании латиницы вместо кириллицы в русской письменности следует сказать особо. И речь идет не о настенных



надписях, которыми бывают испещрены подъезды и заборы, а о таких жанрах, как реклама или публикации по информатике, экономике, современному музыкальному искусству и др. В результате, как справедливо отмечается в лингвистической литературе, происходит, с одной стороны, “разрушение принципов, стандартов употребления кириллического письма”, а с другой – “варваризация языка через латиницу” (Мир русского слова. 1991. № 2). Как читать мозолящие глаза Versace не знающим французского языка (а к ним принадлежит большинство населения) – Версасе, Версац? К этой же категории написаний относятся “Иванушки International”, “Deadушки”, “Newsблок с Александром...”, “Про-новости”, “Доставь себе удоVOLVствие”, “GAMEназия”, “WEBсайтская история”.

В журналистских кругах стало весьма заметным увлечение старорусской графикой. Упомянем здесь появление таких названий газет, как “Коммерсантъ”, “Росси́я”.

Это увлечение коснулось и писателей. Например, Белла Ахмадулина в “Прозу поэта” (2001 г.) вставляет стихи с нарочитым использованием изъятых в 1918 г. из алфавита букв: ъ (ер), Ъ (ять), і (и десятичное), ѳ (фита):

Есть то, что нась svelo:  
 безмолвіе любви.  
 Во здравіе твое –  
 свѣча и с точкой і...  
 Мироволь и многоточь,  
 февральскій первый день,  
 вЪрней – покамЪст ночь:  
 школяръ и буквоЪдъ.

Сама поэтесса объясняет использование своих “букв и буквиц” особенностями стиля, которым она пишет, тяготением “к народным говорам и реченьям”, по сути, к языковой старине. А может быть, здесь сказалось ее органическое неприятие тех общественных деформаций, которыми окружала ее современность и против которых она постоянно протестовала:

Лишь верный стол умеет знать,  
 как чуден мой пример:  
 мне не светло без буквы “ять”,  
 и слог не впрок без “ерь”.

Тяга к языковой старине проявляется у поэтессы не только в употреблении изъятых из алфавита букв, но и в обыгрывании их названий:

Есть полхвизе “Өита” –  
 моим ночамъ-утрамъ.  
 До “ижицы” видна  
 свЪча – стола упархъ.  
 Не дамъ ей догорЪть.  
 Чиркъ спичкой – и с “аза”  
 глядеть на то, что есть,  
 всенощные глаза...

К стилистическим приемам использования графики относится и написание особо значимых для автора слов прописными буквами, в частности, и старорусскими:

Светлей **ӨЕУРГИИ** твои  
 кофейного труда.  
 Витийствуя, красы твори  
 до близкого утра.

Войди в далекий ежедень,  
 твой свет – не мимолет.  
 Сама – содеянный шедевр,  
 сама – Пигмалион.  
 Скажу, язычный **ӨЕОГЕН**,  
 что Афродиты власть  
 изделием твоих огней  
 воочию сбылась.

Впрочем, стилистическое выделение каких-либо слов прописными буквами – распространенное явление в современной литературе, хотя, может быть, и без обращения к архаичным буквам. Например: «Это только по фильму злодею суждено проиграть, такова судьба злодеев – в кино, “Каждый на своем месте...” Ты на месте злодея? Значит, **ДОЛЖЕН** потерпеть поражение. На самом же деле **НЕ МОЖЕТ** мастер каратэ быть злодеем» (В. Барковский).

Графика и орфография могут использоваться и для характеристики персонажей. Примером тому служит роман Т. Толстой “Кысь”. Нетрудно догадаться о социальном положении, уровне образования, кругозоре, умственном развитии главного героя и его “матушки”, читая хотя бы такой фрагмент: “Матушка сказала ему: – Ты меня пальцем тронуть не смеешь! У меня **ОНЕВЕРСТЕЦКОЕ АБРАЗОВАНИЕ** (...) Да вышло по-матушкиному. Уперлась: три, говорит, поколения **ЭНТЕЛЕГЕНЦЫИ** в роду было, не допущу прерывать **ТРОДИЦЬЮ**”.

Подобное употребление графико-орфографических средств приносит и юмористический оттенок в повествование.



## Что скрывают аббревиатуры?

Г. Н. АЛИЕВА,

кандидат филологических наук

Небывалый расцвет в конце XX века окказионального словообразования во всех функциональных стилях русского языка затронул и инициальную аббревиацию. Буквенные и звуковые аббревиатуры стали вовлекаться в фонд экспрессивных средств языка. Столкновение значения обычной аббревиатуры со значением аббревиатуры-омонима создает комический эффект, порождает каламбур, шутку. Так, широко известное название одного из телевизионных каналов – ТБС было расшифровано участниками КВН как “телевидение без смысла” (ТВ. 2002. 22 дек.). В СМИ появились следующие окказиональные омонимы: ДК (Дворец/Дом культуры) – ДК (дойная корова: о человеке, который постоянно финансирует кого-либо) – ДК (Дмитрий Крылов – имя ведущего популярной в России телепередачи “Непутевые заметки”). Данная аббревиатура повторяется ведущим от передачи к передаче в следующей фразе: “До встречи. Ваш Д.К.”, приобретая разговорно-непринужденный оттенок.

Недавно, а именно в 1999 году, в российской прессе появилось слово *БОМЖатник* в неожиданно новом значении: “Банк отвергнутых журналистских материалов” (Комс. правда. 1999. 19 февр.). Как видим, аббревиатура БОМЖ, вступив в словообразовательный процесс, дала, помимо производных (*бомж, бомжиха, бомжонок, бомжата, бомжовка, бомжевать*), слова-омонимы: *бомжатник* и *БОМЖатник*. Оба слова образованы от разных производящих слов, точнее, разных развернутых словосочетаний, что полностью исключает возможность отнесения их к значениям одного и того же слова. Кроме того, если слово *бомжатник* знакомо почти всем россиянам, то слово-омоним *БОМЖатник* известно только узкому кругу специалистов (журналистов). Заметим, что продуктивные словообразовательные суффиксы *-ат, -ник* у обоих слов имеют значение места, помещения, вместилища.

В конце XX века в СМИ появились окказиональные аббревиатуры-омонимы *БАБ* (Борис Абрамович Березовский) и *бабники* (его

сторонники), представляющие собой иронично-пренебрежительные номинации.

В молодежном (в том числе компьютерном) жаргоне нередко встречаются шуточные омонимы к обычным аббревиатурам: *ОРЗ* (острое респираторное заболевание) и *ОРЗ* (очень рано завязал), *ЧП* (чрезвычайное происшествие) и *ЧП* (у журналистов: четвертая полоса в газете, на которой размещается юмористический материал), Агентство *ОБС* (Одна Бабка Сказала), *АСРС* (Агентство “Сарафанное Радио Сказало”), *Воры* (Высокопоставленные Ответственные Работники), *ЖОРЫ* (Жены Ответственных Работников), *ВУЗ* (Выйти Удачно Замуж), *НЭП* (Наведение Элементарного Порядка), *ОБХСС* (Обеспечение Безопасности Хищений Социалистической Собственности), *ЦУМ* (Цены Увеличиваются Молча).

В художественной литературе конца XX века также встречается нечто подобное. Например, в сборнике сказочных повестей В. Шефнера “Дядя с большой буквы, или великая пауза” (1998) главный герой одной из повестей дает прозвище своей теще “*ТТ*”, что расшифровывается им как “типичная теща”. По аналогии с известной аббревиатурой-омонимом *ТТ* (маркировка пистолета “Тула, Токарев”), придуманная аббревиатура приобретает шуточный оттенок.

В связи с тем, что “местом рождения” большинства аббревиатурных омонимов являются газеты и телевидение, некоторые из них стали вовлекаться в фонд экспрессивных средств языка: столкновение значения обычной аббревиатуры со значением аббревиатуры-омонима создает, как уже было сказано, комический эффект, порождает каламбур, шутку, привнося в аббревиатуру дополнительные стилистические оттенки.

*Махачкала*

Язык прессы

## РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ В ГАЗЕТНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ

ЦАО ЮЭХУА

Качественные изменения ситуации в российских СМИ – утверждение демократических принципов (плюрализма, свободы слова), отмена цензуры, снятие запрета с ряда тем, расширение источников получения информации – значительно способствовали усилению диалогового характера публицистики. Сегодняшние журналисты стремятся установить контакт с читателями, настроиться на их возможности восприятия, создать “диалогическое взаимодействие” между собой (Лазуткина Е.М. Парламентские жанры // Культура парламентской речи. М., 1994. С. 35). Все это заметно сближает газетно-публицистический стиль с разговорной речью. В газетные тексты небывалыми потоками начали входить разговорные лексика, словообразование, синтаксис. Создавая атмосферу диалога и доверительную интонацию, эти разговорные элементы сокращают дистанции между адресантом и адресатом, помогают современной газетной публицистике эффективно решать свою задачу внушения, убеждения и воздействия на читателей.

**Словообразование**, как наиболее динамический уровень языковой системы, позволяет получить необходимые сведения о тех процессах, которые лежат в основе речевой деятельности. Здесь мы анализируем некоторые частотные разговорные словообразовательные средства в современной газетной публицистике.

Заметно активизируется компрессивное словообразование, к которому относятся специфически разговорные способы словообразования – универбация и усечение.

**Имена существительные** женского рода с суффиксом *-к(а)*, образуемые от основ прилагательных на базе сочетаний “прилагательное + существительное” и являющиеся семантической конденсацией последних, пользуются высокой употребительностью в современной газетной публицистике. В газетных текстах часто встречается многочисленная и тематически разнообразная группа существительных данного типа, эквивалентных составным наименованиям. Только в одном номере “Комсомольской правды” (2002. 18–25 окт.) мы без всякого труда нашли больше 10 примеров. По этой словообразовательной модели в последние годы образованы слова *гражданка* (работа или служба на гражданском предприятии), *наличка* (наличные деньги), *публичка* (публичная библиотека), *районка* (районная библиотека), *напряженка* (напряженное положение), *чрезвычайка* (чрезвычай-

ная ситуация), *военка* (военный заказ), *нетленка* (нетленное произведение), *первичка* (первичная организация), *незавершенка* (незавершенная стройка) и т.п.

Такие имена существительные характеризуются краткостью формы, их высокая употребительность и продуктивность вызваны динамическим развитием общественной жизни и высокой эффективностью современной коммуникации. “Эта тенденция поддерживается действием закона речевой экономии” (Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М., 2001. С. 144). Приведем примеры: “Снаружи и изнутри туалет покрыт устойчивыми к разнообразным повреждениям составами, дверь же в новую кабинку сделана из *нержавейки*” (МК. 2002. 17 окт.); «Между тем в военно-страховой компании “Москва” (напомним, она застраховала киногруппу Бодрова на 2,3 млн. долларов) начались приготовления к выплатам *страховок*, уточняются списки родных, которым полагаются компенсации» (Комс. правда. 2002. 18–25 окт.).

Кроме краткости формы, эти существительные еще обладают яркой экспрессивностью, некоторые из них в контексте приобретают даже эмоционально-оценочную функцию, что соответствует определенным выразительным установкам автора при необходимости выразить свою оценку и эмоцию: «Юрты сменяются кварталами одинаковых серо-белых панельных пяти- и девятиэтажек, “*хрущевок*” (или “*цеденбаловок*”?)» (Труд. 2001. 1 дек.); «Версию правоохранительных органов о спившемся “бомже”, якобы убившем журналиста по ошибке, депутаты считают *фальшивкой*» (Труд. 2002. 9 июля).

Иногда составные наименования и их лексический синоним употребляются в тексте параллельно: «Как сообщили “МК” в министерстве, турецкую компанию, продающую в России жевательную резинку “Love is ...” задело, что кондитерская фабрика “Меньшевик” производит очень похожую сладость с созвучным названием “Life is ...Life”. Причем упаковку русской *жвачки* можно легко спутать с турецким собратом» (МК. 2002. 21 окт.). Противопоставляемое в короткой заметке исходному словосочетанию, сохраняющему стилистический оттенок книжности, официальности, обиходно-разговорное слово на -к(а) служит цели создания речевого контраста, одновременно разнообразя речь синонимом.

Имена существительные, образованные таким способом, часто оказываются омонимичными, например: “Вот Дроганову и было предложено стать членом этой *массовки*” (Комс. правда. 2002. 18–25 окт.). Слово *массовка* здесь создано на базе сочетания “массовая сцена”, но кроме этого значения оно имеет по крайней мере еще четыре: “массовая экскурсия”, “массовый тайный митинг”, “массовая газета” и “участники массовой сцены”. Так что семантика таких слов иногда может быть определена только с помощью контекста, и с этим надо считаться при их употреблении.

Меньше используются слова, образованные путем усечения основ мотивирующих существительных или прилагательных. Таким способом созданы *копир* (копировальная машина), *кока* (кока-кола), *нелегал* (нелегально находящееся где-л. лицо), *Мак* (Макдоналдс), *нал* (наличные деньги), *безнал* (безналичные деньги), *фан* (фанат) и т.п. Эти слова характерны для разговорной речи. Как жаргонизмы они первоначально были очень популярны и распространены среди молодежи, определенной социальной группы людей. Войдя в книжную речь, они отличаются не только краткостью и экспрессивностью, но и различной стилистической окраской, степенью сниженности.

В результате усечения многие слова получают оценочное значение. Например: «По слухам, главы регионов намерены оформить к себе на службу самых крутых столичных “*спецов*”, с тем, чтобы эти люди, знающие московскую специфику, повсюду сопровождали их в столице» (МК. 2002. 21 окт.); “Знамо дело – в милиции обожают искать котлов, *спецы* по фауне из управ, видимо, будут искать их с помощью фонариков” (МК. 2002. 23 окт.). Используя слово *спецы* в этих примерах, автор выражает свое шутовское и даже ироническое отношение. А прибегая к помощи слов *нал* и *нелегалы* в следующих примерах, автор дает отрицательную оценку обозначаемых негативных явлений, таким же способом воздействуя на читателей: “На рынках – миллионы неучтенного *нала*! А где *нал* – там преступность и опять же взятки!” (Комс. правда. 2001. 26 нояб.); “Не только коренные москвичи и гости столицы, но и многочисленные бомжи, беспризорники и *нелегалы* стройными рядами топали в сторону переписных пунктов” (АиФ. 2002. № 43).

Имена существительные, образованные способом суффиксации, пользуются значительной популярностью среди разговорно маркированной лексики, употребляемой в современной газетной публицистике. В связи с жизненной потребностью нового времени эта группа слов резко увеличивает свою численность особенно за счет производства наименований лиц с суффиксом *-ик(-ник)*, *-щик*, *-ец*, *-овец*: *силовики*, *бюджетники*, *платники*, *налоговик*, *компьютерщик*, *кооперативщик*, *горбачевец*, *жириновец* и т.п.

Производные слова от фамилий политических и общественных деятелей редко звучат нейтрально. Они получают положительную или отрицательную окраску в зависимости от политической ориентации субъекта речи (Земская Е.А. Язык как зеркало современности (словообразовательные заметки) // Филологический сборник. М., 1995. С. 155): «С начала “второй” чеченской компании блокпосты были косягу в гору *масхадовцев* (поскольку перехватывали основные дороги и тактически выгодные позиции)» (Комс. правда. 2002. 20 сент.).

Настойчиво проникают в газетные тексты и имена существительные с суффиксом *-и(а)*, обозначающие лиц женского пола. Такие сло-

ва соотносительны с существительными, относящимися к лицам мужского пола, но носят сниженную экспрессивную окраску. Например, *секретарши* и *миллиардерши* в следующих примерах передают пренебрежительное и ироническое отношение автора: “Если переподписание затянется, то придется признать, что роль *секретарши* в современном бизнесе гораздо выше, чем принято было считать до сих пор” (Известия. 2001. 29 нояб.); “Знаменитую актрису Лю Сяоцин, ставшую, по ее же собственному признанию, первой женщиной-*миллиардершей*, также посадили за решетку” (Известия. 2002. 24 окт.). Слова с суффиксом *-ш(a)* также помогают авторам создать разговорно-доверительную и рекомендательную тональность, интимизировать изложение: “Можно, конечно, отмазаться от знакомой *секретарши* каким-нибудь симпатичным степлером-бегемотиком, коих сейчас продается видимо-невидимо” (МК. 2002. 18 окт.); “По словам *регистраторши*, обойдется такой разовый неофициальный визит в 150–200 рублей” (Комс. правда. 2002. 18–25 окт.).

Поиск журналистами необычного, выразительного способа словотворчества проявляется в особой группе имен существительных, образованных от аббревиатурных названий разного рода учреждений, обществ, вузов, научно-исследовательских институтов и т.п. Эти слова носят экспрессивно-сниженную окраску, иногда трудно воспринимаются читателями без контекста. Например: «Первых “оступившихся” милиционером, *эсбэушников*, судей и прокуроров упрятали сюда в марте 1992 года» (Труд. 2001. 1 дек.); “Так что если что-нибудь случается скверное в стране, то тут всегда два объяснения: либо чеченцы учинили бедствие, либо *фээсбэшники* его организовали” (Известия. 2002. 16 ноябр.); “Промашка *оэртэшников* стала особенно заметна на минувшей неделе, когда к нобелевской теме обратились еще два канала – ТВ-6 и РТР” (Труд-7. 2001. 20 дек.); “Тогда *оэспэшники* сбегают в кухню, где и набрасываются на еду” (Комс. правда. 2002. 18–25 окт.). Слово *эсбэушники* образовано от *СБ* (служба безопасности), *фээсбэшники* от *ФСБ* (Федеральная служба безопасности), *оэртэшники* от *ОРТ* (Общественное российское телевидение), *оэспэшники* от “О.С.П.-Студия”. Чрезмерное использование таких слов безусловно приводит газетно-публицистический стиль к грубоватости и сниженности.

Наблюдается также экспансия некоторых интернациональных словообразовательных формантов, которые употребляются как несклоняемые самостоятельные единицы: “И одному из них – Георгию Чеишвили – даже удалось заснять их на *видео*” (Комс. правда. 2002. 18–25 окт.); “Опять же расходятся данные о том, сколько человек в *авто* было – один или двое, какое оружие было у убийцы в руках (МК. 2002. 21 окт.); “Экстра-колбаса: *Супер* ассортимент” (заголовок) (Известия. 2002. 24 окт.). Употребление таких единиц в газетной публи-



цистике объясняется влиянием западных языков, стремлением к экономии средств выражения, а также общей тенденцией либерализации прессы, ее разрывом с прежней ориентацией на нормы официальной речи.

**Глаголы с суффиксом *-ничать*** составляют немалую группу среди разговорной лексики в современных газетных текстах. Большая часть таких глаголов содержит отрицательно-оценочные компоненты в своей семантической структуре. Например: «Не *поскромничали* в ЦСКА и с приобретением “впрок”, пригласив очень талантливых автозаводских футболистов Василия Березуцкого и Игоря Пиюка, которые еще недавно играли в Детской лиге под началом коренного торпедовца Николая Ульянова» (Труд. 2001. 1 дек.); «На робкое возражение, что пациентку “с обострением” разумнее отвести к психиатру, меня попросили “не *умничать*” и повесили трубку» (Комс. правда. 2002. 18–25 окт.); «Депутат из СПС В. Семенов также *откровенничает* с “Собеседником”: – Вот, отпраздновал свой день рождения в “Савое”» (Советская Россия. 2001. 1 дек.); «Но вряд ли этот крик о помощи будет услышан: в нынешних условиях *либеральничать* с прессой никто не будет» (Независимая газета. 2002. 1 ноябр.).

Встречается также немало глаголов, образованных префиксально-постфиксальным способом. Глаголы с приставкой *на-* и постфиксом *-ся* имеют значение “совершить действие в достаточной степени или избытке; дойти до состояния удовлетворения или пресыщения”: “*Наслушавшись* поучительных историй, они устраивают невестам проверки, как в Пентагоне” (МК. 2002. 18 окт.); «И каждый уважающий себя родитель считает себе долгом накормить ребенка (да и себя самого) максимально возможным количеством своих плодов, чтобы “*навитаминиться*” на год вперед» (Комс. правда. 2002. 18–25 октября); “Пока закон не вступит в силу (это произойдет не раньше, чем через месяц), москвичи вволю *накатываются* бесплатно” (МК. 2002. 17 окт.).

Глаголы с приставкой *от-* и постфиксом *-ся* имеют значение “избавиться, уклониться от кого-чего-н.”: “*Отмахиваясь* от назойливых продавцов, между картинками бродяг потенциальные покупатели” (АиФ. 2002. № 33); “Им удалось бежать через запасной выход и *отсидеться* возле гаражей” (Известия. 2002. 24 окт.). Глаголы с приставкой *раз-* и постфиксом *-ся* имеют значение “начав действие, достигнуть большой интенсивности этого действия”: «Немцов резко “наехал” на президента по поводу формирования органов власти из одних ленинградцев, назначение Миронова спикером Совета Федерации дало ему повод *разгуляться*» (МК. 2001. 15 дек.); “На полтора часа проспала пресс-конференцию, опоздала на радио, но так *разговорилась* в эфире, что вместо заявленных 45 минут просидела в студии целых 80, пустив в тартарары весь программный график” (МК. 2002. 18 окт.).

Глаголы с приставкой *за-* и постфиксом *-ся* имеют значение “чрезмерно долго совершая действие, целиком погрузиться в это действие,

увлечься, утомиться”: “Самих народных избранников, однако, среди пикетчиков видно не было: *засматривались* на действие лишь редкие сотрудники думского аппарата, спешившие на работу” (МК. 2002. 18 окт.). Такие семантические компоненты, как излишность, крайность, насыщенность, напряженность, интенсивность и завершенность, придают большинству глаголов данного словообразовательного способа экспрессивно-оценочную значимость, с их помощью автор выражает свои определенные эмоции и оценки.

**Прилагательные** с экспрессивными суффиксами также встречаются в газете. Образования таких типов относятся к разговорной и просторечной лексике. Прилагательные с суффиксом *-еньк-* имеют ласкательное значение, они смягчают тональность и категоричность оценки говорящего. Например: “Понятно, что такой *слабенький* повод не нашел отклика у жильцов” (АиФ. 2002. № 33); «Отчасти это объясняется значительным неравенством цен нефти экспортной и российской. И тем, что наш рынок топлива действительно очень уж *“серенький”*» (Труд. 2001. 1 дек.); “Для зимы модельер предложил пальто, подбитые чернобуркой, с длинными рукавами, *веселенькие* серебряные дубленки и юбочки из хвостиков псаца” (МК. 2002. 29 нояб.).

Прилагательные с суффиксами *-ущ-(-ющ-)* обозначают усиленную степень качества, носят экспрессию грубоватости: “А сами Путин и Кучма сидели в президиуме примерно с час, выслушивая из уст министров *длиннющие* списки совместных российско-украинских проектов” (МК. 2001. 15 дек.); «А “потомки”, сбившись в кучки, разрывают зубами трехцветную *длиннющую* ленту» (Комс. правда. 2001. 26 нояб.). Прилагательные с суффиксом *-оват-* имеют значение “обладающий в смягченной, уменьшенной степени качеством”: «Указав публике на преемственность в собственном творчестве, он также преподавал мастер-класс гитарного рока многочисленным представителям нынешней *туповатой* “тяжелой” альтернативы» (Известия. 2002. 16 нояб.).

Влияние разговорной речи на газетный язык давно рассматривалось в работах В.Г. Костомарова, Т.Г. Винокур и др., но под значительным воздействием современных экстралингвистических факторов эта проблема приобретает все большую актуальность. Наши наблюдения показывают, что сближение газетно-публицистического стиля с разговорной речью дает современным журналистам больше возможностей для успешного осуществления своего творческого плана, полноценного проявления своей индивидуальности, эффективного воздействия на читателей, но нам стоит еще раз вспомнить слова известного ученого В.Г. Костомарова: “Широкий поток разговорности льется сейчас на газетные полосы. Он несет с собой живость, выразительность, задушевную простоту. Задача ученого и журналиста направить его по нужному руслу” (Разговорные элементы в языке газеты // Русская речь. 1967. № 5. С. 53).



## О Ярославле Осмомысле как герое “Слова о полку Игореве”

Л. В. САВЕЛЬЕВА,  
доктор филологических наук

Со времен первой публикации “Слова о полку Игореве” и робкого его толкования Н.М. Карамзиным фактически за двести с лишним лет поэтические антропонимы “Слова” не подвергались существенному анализу, прежде всего – с позиций единства текста. Поэтический эпитет *Осмомысл* при имени галицкого князя Ярослава в тексте употреблен только один раз, причем в звательной форме: “Галичкы Осмомысле Ярославе! Высоко седиши на своем златокованнем столе, подпер горы Угорскыи своими железными плъки, заступив королеви путь, затворив Дунаю ворота, меча бремени чрез облакы, суды ряда до Дуная. Грозы твоя по землям текут, отворяеши Киеву врата, стреляеши с отня злата стола салтани за землями. Стреляя, господине, Кончака, поганого кощея, за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святславлича!”

Первые издатели сначала прочитали прозвище Ярослава как всем понятное имя *Гостомысл*, что получило отражение в Екатерининской копии “Слова” (Дмитриев Л.А. История первого издания “Слова о полку Игореве”. Материалы и исследования. М.–Л. 1960). Однако в комментарии к тексту они предпочли дать единожды встречаемое, не совсем понятное *Осмомысл*. Позднее, в своей “Истории государства Российского”, Н.М. Карамзин перевел авторское определение Ярослава тоже как *Осмомысл*, добавляя в комментарии к тому III, главе VII, “в том смысле, кажется, что его один ум заменял восемь умов”. Возвеличивающую оценку галицкому князю в этом слове усматривали и другие исследователи, среди них такие авторитетные, как А.А. Потебня (у Ярослава, как у рачительного хозяина, “восемь забот зараз”) и В.Ф. Ржига (подчеркивающий величие долго и успешно правящего князя, который в связи с этим был назван автором по образцу римского императора Августа *Октавиана* – “Осмородним у ріднім переклад!”). Цит. по: Словарь-справочник “Слова о полку Игореве”. Сост. В.Л. Виноградова. Л., Наука, 1973. Вып. 4).

Здесь следует сказать, что как историческая личность князь Ярослав Галицкий, праправнук Ярослава Мудрого и сын венгерской принцессы, оставил по себе яркую память и р о л ю б ц а в летописях и иных исторических источниках. Годы его жизни устанавливаются как 1130–1188. Взойдя на престол Галицкого княжества в 1153 году, он сумел сохранить его за собой много лет к моменту написания “Слова” и укрепить свой авторитет в великокняжеской среде, обеспечив процветание княжества. Ярослав умело находил компромиссы с соседними государствами Западной Европы и с Византией в борьбе их друг с другом, а также в своем противостоянии честолюбивым русским князьям (свою дочь Евфросинию он выдал за Новгород-Северского князя Игоря Святославича). При этом хорошо известно, что внутри княжества Ярославу приходилось зависеть от крупных бояр. Возмущенные его супружеской неверностью по отношению к дочери Юрия Долгорукого Ольге, они даже сделали так, что его давняя возлюбленная Анастасия была сожжена на костре в 1171 году, а самого его водили к крестовой клятве соблюдать “брачный закон”. Однако и заступничество бояр и поляков не смогло усмирить “греховодника” Ярослава: он почти сразу же сумел развестись с нелюбимой женой и даже перед смертью завещал престол Олегу – сыну Анастасии (Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее важнейших деятелей. Кн. 1. М., 1998), хотя бояре и не допустили этого.

Идею негативной оценки Ярослава Галицкого в авторском эпитете *Осмомысл* как человека, одержимого “восемью греховными помыслами”, среди которых нарушение брачного ложа считалось безусловным грехом, порождающим другие нарушения церковной морали, впервые обосновал П.В. Булычев. Подобные ассоциации с одержимостью “греховными помыслами”, по мнению П.В. Булычева, должны были возникнуть у книжника, хорошо знавшего “Слово о осми мыслях” аскетического направления, которое разрабатывалось как в прологах мниха Евагрия, так и рукописных памятниках XIV–XV веков – переводных сочинениях Ефрема Сирина и Нила Синайского (Булычев П.В. Что значит эпитет *Осмомысль* в “Слове о полку Игореве” // Русский исторический журнал. Пг., 1922. Кн. 8.).

Резко различается с позицией П.В. Булычева мнение якобы скрытой здесь тюркской кальки: в казахском эпосе *Осмомыслу* буквально соответствует “осьмигранный джигит” (*сэргз-кырлы*) и символизирует всестороннюю развитость в восьми наиболее важных жизненных сферах (Сулейменов О. Аз и Я. Алма-Ата, 1975). При всей спорности самой методологии этимологических и исторических замечок поэта О. Сулейменова и большинством его утверждений, не выдерживающих исторической и языковой критики, мнение его нашло себе поддержку в лице одного из серьезных издателей и переводчиков “Слова” В.И. Стеллецкого (1981).

Случайно ли это? Видимо, нет. Сама вытекающая из исторического и литературного контекста общая позитивная характеристика Ярослава Галицкого у подавляющего большинства исследователей сомнения не вызывает. Академик Б.А. Рыбаков даже определял ее как “восторженную” (“Слово о полку Игореве” и его современники. М., 1971). Однако не до конца проясненным остается вопрос: почему в тексте, пронизанном фольклорными и иными общеэтническими понятными образами и ассоциациями, при явном возвеличивании и прославлении могущественного Ярославского князя (менее всего связанного с тюркским окружением), автором избирается столь завуалированный, опосредованный поэтический окказионализм?

Обратимся к позиции единства текста. Эта позиция должна учитывать, по крайней мере, связи его 1) с идейно-художественным содержанием текста; 2) с его жанровой природой; 3) с творческой манерой автора.

Идейно-эстетическое содержание текста “Слова”, по общему признанию, состоит в мысли его автора о необходимости единения русских князей и безусловной их верности Русской земле как отечеству и Святославу Киевскому как старшему в роде. Некоторые мягкие упреки в изменах и возвеличивание русских князей в прославляющих песнях дружинного характера – основные мотивы “Слова”. Они вылились в “еще младенческую неопределенную жанровую форму” развивающейся русской литературы, которая впитала в себя две жанровые системы – книжную и фольклорную. Как показал Д.С. Лихачев, литературная форма “Слова” более всего отразила жанровые устно-поэтические традиции *плачей* и *слов*. Именно столь противоположные по своему эмоциональному содержанию жанры в сплетении давали возможность выразить богатую гамму чувств и смену настроений автора (Лихачев Д.С. Жанр // Энциклопедия “Слова...”. Т. 2) “трудной повести” о походе Игоревы войска, хотя он и не всегда остается в рамках этих жанров. Подчеркивая особое значение *слав* (похвал, прославлений) в жанровой природе памятника, Д.С. Лихачев перечислял их в тексте не менее пятнадцати. Уместно напомнить, что эти места показательны для типологии памятника в контексте раннефеодальных эпических культур.

Так, в относительно небольшом тексте “Слова о полку Игореве”, в согласии с кодексом рыцарской чести, личные заслуги, доблесть и храбрость воспеваются на всем его протяжении. Достаточно отчетливо эта эстетизация проявляется едва ли не в двадцати случаях: прославление дружинного певца Бояна и его метафорической манеры изложения в первых строфах “Слова”; прославление Игоря; того же Бояна; слава Всеволоду; его курянам; слава всем храбрым русичам; воспевание батальной богатырской буести Всеволода; прославление великого Святослава Киевского; слава его братьям-великим князьям

Ярославу и Всеволоду, Рюрику и Давыду, Ярославу Галицкому, Роману и Мстиславу, Ингварю и Всеволоду и всем “не худа гнезда шестикрыльцам Мстиславичам”; посмертная слава-хвала князю Всеславу; восславление Игоря за его удачливый побег из плена; слава олицетворенному Донцу за его бескорыстную помощь беглецу-князю; финальные, “фанфарные” восхваления князя Игоря, его сподвижников – князей Всеволода и Владимира, а также завершающее славящее слово в адрес княжеской дружины. Славу “поют Святославу немцы и венецицы, греки и моравы. Слава звенит в Киеве, ее поют девицы на Дунае. Она вьется через море, пробегает пространство от Киева до Дуная” (Там же).

В этом контексте трудно согласиться с П.В. Булычевым, усматривающим христианский упрек Святослава Ярославу Галицкому в его “греховных помыслах”, как, впрочем, и трудно признать особо панегирическое отношение к Ярославу и его дочери, побуждавшее некоторых исследователей на этом основании признавать галицкое происхождение неизвестного автора “Слова”.

Сама по себе творческая манера неизвестного автора “Слова” заставляет полностью признать утверждение Д.С. Лихачева, что он предпочитал пользоваться только той тропикой, теми эпитетами, сравнениями, метафорами, которые были хорошо понятны слушателям. К их числу принадлежит, например, непонятный поначалу издателям эпитет по адресу трех князей Мстиславичей, названных автором соколами-шестокрыльцами. Однако деление оперения в соколином крыле на три части, обращающее любого из соколов в “шестокрыльца” (Шарлемань Н.В. Из реального комментария к “Слову о полку Игореве” // ТОДРЛ. 1948. Т. 6), делает его прозрачным в восприятии слушателей. Такими же оказываются окказиональные приложения-эпитеты к другим антропонимам текста: *яр тур Всеволод; буи тур Всеволод; Святъслав грозный великий киевский; тебе, чръный ворон – поганый половчине; один брат, один свет светлый ты, Игорю; О Бояне, соловью старого времени!* и пр.

Итак, из системного характера образной выразительности, как и из всего сказанного, вырисовывается некая общая концепция прозвищного эпитета Ярослава Галицкого в качестве героя “Слова”: должно прочитываться **общедоступное по ассоциации, позитивно оценивающее, даже возвеличивающее прозвище могущественного князя, которое в ходе переписки претерпело явное искажение.**

Мы предполагаем в качестве искаженного при переписке элемента текста слово **Остромысл**, в прошлом почти омографичное по отношению к слову *Осомысл*.

В качестве более конкретных доказательств приведем следующие.

1. Показания Екатерининской копии, которая дает чтение **Гостомысле**. Как известно, для эпохи создания “Слова” основным типом

письма являлся устав. Однако погибшая мусин-пушкинская рукопись, относящаяся к концу XV – началу XVI веков, по мнению видного палеографа М.В. Щепкиной, была написана “беглым, или спешным полууставом” (замечания о палеографических особенностях рукописи “Слова о полку Игореве” // ТОДРЛ. 1953. Т. 9). Графические нормы эпохи написания известного науке списка ко времени издания памятника позволяли по-разному делить текст на слова, оценивать расположения в тексте отдельных пропущенных или смещения поставленных выносных букв, неправильно раскрывать титла и т.д. Все это порождало неизбежные разночтения, неверное осмысление ряда слов и выражений.

Такая судьба, видимо, постигла и слово *Остромысл*, вызвавшее множество различных толкований. Вслед за М.В. Щепкиной и О.В. Твороговым заметим, что неправомерно не принимать во внимание подобных разночтений. Варианты *Осмомысле* – *Гостомысле* специально не рассматривались палеографами, но анализ других разночтений двух текстов “Слова”, проведенный О.В. Твороговым, показал, что Екатерининская копия даже б л и ж е к оригиналу. Первым издателям, читавшим, видимо, увлеченно и эмоционально, орфография подлинника представлялась чем-то малосущественным по сравнению с его содержанием (Щепкина М.В. К вопросу о разночтениях Екатерининской копии и первого издания “Слова о полку Игореве” // ТОДРЛ. 1958. Т. 14; Творогов О.В. К вопросу о датировке Мусин-Пушкинского сборника со “Словом о полку Игореве” // ТОДРЛ. 1976. Т. 31).

2. Наличие выносных букв, которые затем могли оказаться непрочитанными.

Для “беглого полуустава”, помимо сильного наклона, букв с узелками, с широкими верхами или длинными хвостиками, слитности букв – лигатур, также были характерны выносные буквы, в числе которых палеографы называют и *p*. Так, О.В. Творогов в специальной статье замечает, что лежащее *p* в рукописях XVII века постоянно не прикрывалось титлом (Творогов О.В. О выносных буквах в русских рукописях XV–XVII веков // Исследования источников по истории русского языка и письменности. М., 1966).

Исходя из этих палеографических соображений, можно реконструировать написания “Остромысле” в XII веке и предположительно XVI веке следующим образом:

ОСТРОМЫСЛЕ (XII в.) → ОСМ<sup>Р</sup>ОМЫСЛЪ (XVI в.) → ОСМО-МЫСЛЪ (первые издатели 1800 г.). При этом в изданном варианте была опущена надстрочная лежащая буква *p*, часто имеющая очень непонятный, декоративный характер, и в ней был ложно опознан надстрочный диакритический знак не над трехмачтовым *m*, а над *m*. Вот почему писцу Екатерининской копии спорная буква виделась как *m*, а не как *m*.

3. Большая продуктивность антропонимической словообразовательной модели с прилагательным, чем с числительным. В языке XI–XII веков, как это видно из работ виднейших отечественных ономастов А.М. Селищева, В.А. Никонова, А.В. Суперанской и др., обычным способом антропонимического словообразования было именное основосложение, в котором первая часть – прилагательное: *Остромир*, *Остроум*, *Бързомысл*, *Святослав*, *Ярослав*, *Вячеслав* и под. Косвенно на эти прозвищные имена указывают зафиксированные фамилии *Остромыслов*, *Остроумов* (Ведина Т.Ф. Словарь фамилий. М., 1999), хотя происхождение последних, разумеется, может быть и гораздо более поздним, искусственным.

4. И, наконец, еще одно соображение, связанное с близким и понятным всем читателям идейным миром “Слова”. По данным Словаря-справочника В.Л. Виноградовой (Вып. 4), слово *острый* в выражениях *острый ум*, *острые мысли*, *острый промысел* в древнерусском языке имело вполне понятные нашему современнику значения “проницательный, тонкий, восприимчивый”. В своем неукротимом желании выстроить исторические схемы мы часто несправедливо резко противопоставляем историческую волю и сознание людей разных эпох. В этой связи возникает закономерный вопрос: не воплощает ли в себе *остромыслие* (оно же дипломатическое *хитроумие*, подтвержденное исторически и лексикологически) **Ярослава Галицкого**, с точки зрения автора слова, **идеальную позицию монарха**? Ведь Ярослав, заботясь о мирном существовании, процветании и жизни своих подданных, регулярно нанимает иноземцев для отстаивания интересов собственного государства, и этот исторический факт отнюдь не упускает из виду автор, который в финальных словах обращения к князю образно напоминает: *стреляеши с отня злата стола салътани за землями. Стреляи, господине, Кончака, поганого кащя?*

Таким образом, анализ поэтики текста как единого целого вместе с соображениями графического и идеологического порядка позволяет нам с большой долей вероятности высказать предположение об ином прочтении загадочного авторского приложения-эпитета к личному имени Ярослава, долговременного и мудрого правителя Галицкого княжества в XII веке.

*Петрозаводск*





## “Книга глаголемая странник”

### *История названий в путевой литературе Древней Руси*

А. А. РЕШЕТОВА,  
кандидат филологических наук

В древнерусской литературе названия жанров включались в заглавия произведений. В данной работе мы попытались сопоставить заглавия путевых описаний, рассмотрев их в определенной последовательности: от понятий с конкретным, узким значением до терминов с более широким, общим смыслом. В зависимости от этого имеющиеся названия текстов путевой литературы Древней Руси можно разделить на три группы: 1 – *странник, паломник, проскинитарий, поклонение, пелигримация, pereгринация*; 2 – *хож(д)ение, путешествие, путешественник, путник*; 3 – *слово, сказание, повесть, описание, житие*.

Заглавия первой группы имеют конкретное, узкое значение, указывающее на цель поездок – поклонение сакральным местам – и суть описаний – рассказ о святынях Восточного Средиземноморья. Слово *странник (страньникъ)* в Древней Руси означало “путник”, “скиталец”, “странствующий по чужим землям”, “чужестранец”, а также указывало на религиозную принадлежность приезжего – “иноверец” (чаще по отношению к евреям), “язычник”. В настоящее время оно переводится как “паломник”, “путешественник” (Этимология терминов трактуется по словарю Фасмера М. Этимологический словарь

русского языка. М., 1967. Т. III; древнерусский перевод дан по словарю Срезневского И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1895–1903. Т. II–III; древнегреческий – Дворецкого И.Х. Древнегреческо-русский словарь. М., 1958. Т. 1–2).

В рукописях древнерусских путевых записок слово *странник* в качестве заглавия переносилось на всю книгу и употреблялось в сочинениях игумена Даниила (XII в.), Стефана Новгородца (XIV в.), инока Зосимы (XV в.), Трифона Коробейникова (XVI в.), Василия Гагары (XVII в.), Арсения Суханова (XVII в.). Так, в списках паломнического описания игумена Даниила (начиная с самых ранних – XV в.) оно использовалось наиболее часто: “Книга, глаголемая странник”; “Книга странник, хожд(д)ение или Книжица, именуемая странник, хождение”; “Странник иерусалимский” и т.п. Благодаря популярности данного текста именно “странник” зачастую воспринимался поздними авторами-паломниками и редакторами как образцовое для данного рода литературы название, ставшее самым ранним определением жанра.

Слово *паломник* (*паломьникъ*) имеет значение, близкое к семантике предыдущего определения, – “богомolec”, “человек, побывавший в Иерусалиме и у других особо почитаемых святых Ближнего Востока и Руси”. Сфера его употребления также шире, чем заглавие книги. Произошло от латинского *palmarius, palmatus*, которое восходит к обычаю приносить из Палестины пальмовые ветви людьми, поклонявшимися Святой Земле. *Паломником* (то есть “сочинением, описывающим паломничество”) названо немного путевых описаний: это сочинение Даниила с заглавием “Паломник Даниила мниха, сказание о пути, иже есть к Иерусалиму” (в основном, в списках XV–XVI вв.) и константинопольское описание Антония: “Книга Паломник”. В рукописях встречается ошибочное *псаломник* вместо *паломник*, что указывает на его неупотребительность; к тому же неслучайно оно чаще всего “толкуется”, поясняется другими, дополнительными, названиями.

Заглавия *Странник* и *Паломник* подразумевали, что за ними стоят “книги паломников”, непосредственно посвященные теме сакрального путешествия. В свою очередь, более поздний смысл – “книга для паломников” – зафиксирован у заимствованного из греческого языка слова *проскинитарий* “почитать”, “поклоняться”, “преклонять колени”; “место, которому нужно поклоняться”, “богомольное место”. Отсюда использование этого слова в качестве заглавия произведения, означающего “список мест паломничества”. Не совсем верен русский перевод *проскинитария* как “поклонения/ья” (“поклонение”, “почитание” и в широком смысле “паломничество”), но именно этот смысл появился в названии “Поклоненья святого града Иерусалима” (1531 г.) и в тексте “Путника о святом граде Иерусалиме” (между 1597 и 1607 гг.), где заимствованное слово, правда, в искаженном виде – *проскeмет*.

также толковалось как “поклонение”. Точный перевод – “список мест паломничества” – в древнерусских текстах практически не встречается.

Греческий термин обнаруживается в названиях паломнических описаний и в непереуведенном виде: “Проскинитарий, сиречь поклонник Даниила монаха, сказание о пути...”, “Книга, глаголемая Проскинитарий (хождение) строителя Арсения Суханова”, “Проски[ни]тарион или путник всечестнаго иеромонаха Варлаама Леницкого”. Скорее всего, он стал более употребительным вследствие популярности сочинения Арсения Суханова, причем с XVII века оно зачастую встречается в очень искаженном виде – *просконитарий*, *просконисарий*, *проскомитарий*, *проскинигитарий* – и, как правило, с дополнительными пояснениями.

Слова западного происхождения *пелгримация*, *пегрегинация* также использовались в названиях путевых описаний. Они представляют собой поздние заимствования, которые появились только в начале XVIII века, после того как в Россию стали проникать польские сочинения аналогичного жанра. В русских переводах *пелгримация* чаще русифицируется и переводится как “путешествие”. Показательно, что оба автора-паломника XVIII века, в чьих текстах обнаруживаются эти названия, выходцы из западной России: Ипполит Вишенский из Чернигова (“Пелгримация или Путешественник...”) и Варлаам Леницкий из Киева (“Пегрегинация или Путник...”).

Вторая обширная группа понятий, использовавшихся в качестве названий путевых сочинений, предназначалась для рассказа о путешествиях не только паломнических, но и торговых, посольских, дипломатических, землепроходческих и др. В первую очередь это *хож(д)ение* и *путник*, которые первоначально подразумевали “путешествие” и “путешественник” без какой-либо конкретизации, вследствие чего нуждались в уточнении (“хождение странническое”, “о походе Василя как странника”); хотя ныне за термином *хождение* окончательно закрепилось значение “паломничество”.

Семантику *хож(д)ения* прежде всего составляли: “путешествие”, “перемещение пешком”, “ходьбу”; – в отдельных случаях оно, подобно латинскому *peregrinatio*, указывало на “образ жизни”, “поведение” (например, “Сказание и хождение самодержца царя Александра великия Македония”). Древнерусское *хож(д)ение* изначально было весьма распространено в заглавиях паломнических описаний, оно встречается в многочисленных списках текстов: “Житие и хождение Даниила руския земли игумена”, “Хождение Пименово в Царьград” Игнатия Смольянина, “Хождение инока Варсонофия...”, “Житие и хождение в Иерусалим и Египет казанца Василя Яковлева Гагары”, “Хождение Арсения Суханова” и др.

Частота употребления этого термина привела к его переносу на все паломнические описания, вне зависимости от их заглавий; имея

долгую традицию бытования, он на протяжении столетий воспринимался синонимом паломнического описания. Причем закрепилась южнославянская форма – *хождение*, по степени популярности отодвинув древнерусский вариант *хождение*. С XV века, когда в путевой литературе начали появляться не только паломнические записки, рассказы о путешествиях традиционно назывались *Хож(д)ениями*, например “Хождение за три моря Афанасия Никитина” (XV в.), и только в XVIII веке они стали определяться современным, не указывающим на цель совершенной поездки, понятием “Путешествие”, “Путевые заметки”.

Несмотря на то, что *путешествие* – слово древнее (представляет собой перевод с греческого со значением “маршрут, дорога путешествия, путь”), в древнерусской словесности оно встречалось гораздо реже *хож(д)ения*. Самое раннее его появление в заглавии паломнических описаний относится к XVII веку, а более часто оно используется с начала XVIII века: “Путешествие во Святую Землю” Иоанна Лукьянова (XVIII в.), “Путешествие” Андрея Игнатъева (XVIII в.) и др. Если в понятие *хождения* с течением времени все более уверенно и часто вкладывался смысл поклонения Святой Земле и описания паломнической поездки, то слово *путешествие* всегда было нейтральным и использовалось для обозначения передвижений и странствий любого рода. Не исключено, что со времен Петра I сознательно этим словом нередко заменялось традиционное *хож(д)ение*: “Путешествие по святым местам в 1830 г.” А.Н. Муравьева, “Путешествие по Святой земле в 1835 г.” А.С. Норова, “Путешествие на Восток князя П.А. Вяземского 1849–1850 гг.” и т.п. Выбор нового понятия ставил своей целью исключить религиозную специфику путевого описания даже из заглавия, что связывалось со снятием запретов на повествование мирского, с появлением рассказов о путешествиях большей частью познавательных, с возникновением новых жанров: литературного путешествия, путевого дневника, путевого очерка.

Слово *путник* (*путникъ*), аналогичное терминам *странник* и *паломник* как определяющее лицо, которое совершает то или иное действие, соответствует греческому “путешественник”, “странник”. В древнерусской письменности употреблялось и в качестве заглавия книги предсказаний, сочинения, разъясняющего значения различных встреч: “Путник книга, в ней же есть написано о встречах, коби всякыя еретическыя”. Как название для паломнических описаний оно было зафиксировано сравнительно поздно, лишь в конце XVI века, в рукописях путевых заметок Даниила Корсунского – “Сия книжка, зовемая Путник до святого града Иерусалиму”; произведения малороссийских паломников XVIII века Макария и Сильвестра – “Путник до святого града Иерусалим”; паломнического описания киевского монаха Варлаама Леницкого – “Перегринация или путник”, “Проскитарион или путник”. Несмотря на естественность использования слова *путник*

древнерусскими книжниками, в основном, оно было ограничено переведенными с греческого языка путеводителями и западнорусскими образцами этого жанра, текстами конца XVI – начала XVIII веков.

Третью группу заглавий паломнических описаний составляют разные определения повествовательной литературы Древней Руси, служившие прежде всего для обозначения эпической формы повествования: *слово*, *сказание*, *повесть*, *описание*, *житие* (эти термины входили в заглавия и других жанровых образцов, не ограничиваясь областью литературы путешествий). Так, термин *слово* в качестве заглавия путевого описания использовался лишь в отдельных случаях и, как правило, с дидактической целью, к примеру в “Слове о некоем старце” (XVII в.).

Очень редко паломнические рассказы назывались в рукописях пространенными, но неопределенными с точки зрения жанра терминами: *сказанием* и *повестью*. Как *Сказания* чаще выступали фрагменты и выписки из паломнических записок: “Сказание о святем (граде) Иерусалиме...” из сочинения игумена Даниила; компилированная выписка из текста архимандрита Грефения с рассказом о маршруте “Скание Епифания мниха о пути ко Иерусалиму”, а также обезличенные, например, анонимное, датированное 1381 годом описание Константинополя “Сказание о святых местах, о Костянтинеграде...”. *Повестями*, как правило, озаглавливались древнерусские переводные тексты, например, “Повесть о святом граде” Симеона Симоновича (1748 г.), созданная на основе византийского путеводителя), или сочинения, написанные авторами-иностранцами – “Повесть о святых и богопроходных местах святого града Иерусалима” Гавриила Назаретского (XVII в.). Данные тексты были названы так из-за их причастности к греческому источнику, поскольку для русских паломнических описаний вполне могли использоваться общие названия греческих путевых справочников, которые до XVII века активно назывались *повесть*.

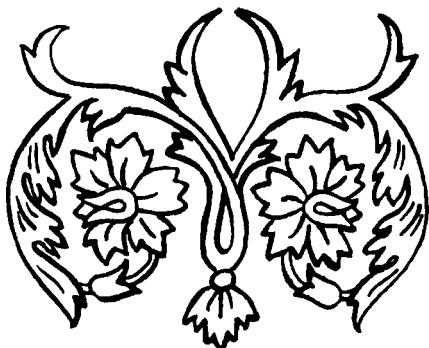
Столь же малочисленны случаи называния древнерусских хождений *Описаниями* (соответствующее греческое слово в значении “очерк”, “изложение”, “описание”). Как заглавие в его современном понимании этот термин получил распространение только в XVII веке. Его встречаем в рукописных названиях “Описания о святем граде Иерусалиме” Трифона Коробейникова; “Описания пути ко святому граду Иерусалиму...” Иоанна Лукьянова; “Описании путешествия...” монахов Сильвестра и Никодима (XVIII в.). В двух интереснейших паломнических памятниках Древней Руси в качестве заглавий использовался термин *житие*: “Житие и хождение Даниила, русския земли игумена” и сочинение Василия Гагары “О житии и хотящему святому гробу Господню видети и поклонитися ему”. Он наполнил тексты новым смыслом и звучал как утверждение связи паломничес-

кого рассказа с жизнеописанием святых и жанром автобиографии, позднее получившим признание на Руси.

Итак, термины последней группы, указывающие на способ повествования, не были характерны для названий древнерусских паломнических описаний по причине их абстрактности. В этом качестве их стали использовать довольно поздно. Еще в XIX веке они выступали как понятия многозначные. Как правило, книжники осознали, что, называя паломнический рассказ *Повестью*, *Сказанием* или *Описанием*, они должны внести дополнительные указания или уточнения в зависимости от содержания текста, чтобы читатель уже по названию мог настроиться на восприятие сочинения определенного типа.

Именно от заглавий отдельных произведений происходило название жанра. Такие слова, как *странник*, *хождение*, наиболее часто становились образцом для других авторов паломников или переписчиков. Заглавные слова текстов попросту “суммировались” в процессе библиотечной каталогизации, составления “описей” и “индексов” монастырских рукописных собраний, что приводило к их обобщению, а в дальнейшем – к их сознательному применению в качестве жанровых терминов. Библиографическое упорядочивание становилось своего рода заменой литературной теории и критики, отсутствовавшей во времена средневековья.

Разнообразие названий путевых описаний и их трансформация на протяжении столетий затрудняет выявление единственного термина, неизменного в течение веков, хотя вместе с тем отражает историю развития жанра. Так, *Паломник* в качестве заглавия отмечается в самых ранних (XV в.) рукописях, но вскоре становится непонятным и исчезает; *Проскинитарий* появился только в XVI веке и остался чуждым для древнерусского книжника (о чем говорит частота искаженных вариантов этого слова); для названия западнорусских описаний чаще использовались *Путник* (конец XVI в.) и *Пелгринация, peregrinacija* (начало XVIII в.); *Путешествие* достигло значимости в литературных заглавиях во времена Петра I. Только *Странник* и *Хож(д)ение* по причине популярности и многократного использования утвердились на несколько веков как конкурирующие жанровые определения. Последнее, в силу сложившихся традиций, используется в современной медиевистике в качестве обобщающего понятия путевой литературы Древней Руси.



## ВЫРАЖЕНИЕ СОКРОВЕННОГО ПРОТОПОПОМ АВВАКУМОМ

О. В. БАРЫГИНА

Полнее выражать свои мысли и чувства позволяют нам языковые средства – эпитеты, метафоры, символы и др. Они помогают говорящему точнее передать смысл, или, наоборот, замаскировать его из-за опасения запретов, или цензуры. Опальный протопоп Аввакум, для выражения сокровенных мыслей часто использовал эти средства.

В словаре В.И. Даля *сокровенный* – “сокрытый, скрытый, утаенный, тайный, потайной, спрятанный или схороненный от кого” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1991. Т. IV), в современном же Словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой – “свято хранимый и тайный” (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992).

Пристальное внимание к текстам Аввакума позволяет обнаружить с о к р о в е н н ы е смыслы, приблизиться к пониманию мировосприятия личности, выразившей себя посредством текста. Это особенно актуально, когда мы обращаемся к наследию священнослужителей XVII века и сталкиваемся с явлением иной культуры, отдаленной от нас временем и порожденной иными социально-историческими условиями. Протопоп Аввакум – выдающийся носитель той особой культуры. Творчество “огнепального” протопопа, его нестандартное обращение со словом дает обильный материал для анализа форм иносказания и выявления утаенных смыслов, важных для него.

Анализируя “Житие” протопопа Аввакума (Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. Иркутск, 1979), мы встретили такой способ выражения сокровенного, как и р о н и я. В первую очередь ирония Аввакума направлена на самого себя, а авторское стремление

изобразить себя греховным, жалким и смешным “напоминает собой юродство – это стиль, в котором Аввакум всячески унижает и умаляет себя, творит себя бесчестным, глупым” (Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы. М., 1997). Замечательны э п и т е т ы, которыми он наделяет себя: *аз недостойный; протопопа Аввакума, беднова горемыку; аз же, трекоаянный врач; и я, грешник; Аввакум, блядин сын; Кто есмь аз?; умерый пес!* Чтобы понять суть этих характеристик, необходимо сопоставить их с другими языковыми элементами и с текстом “Жития” вообще. Попутно заметим, что впервые в истории литературы Аввакум создает свое “Житие”, делая главным героем самого себя и описывая свою жизнь, а не земной путь святого, канонизированного христианской церковью (как в традиционных житиях святых).

Для Аввакума характерно использование знакомых и значимых для христианства текстов в качестве и н о с к а з а н и я. Он цитирует и пересказывает Священное Писание, произведения раннехристианских авторов, авторитетнейшие для православия тексты “отцов церкви”, хорошо известные его современникам: “Исповедание веры” Афанасия Александрийского, “Изложение вкратце о вере” Анастасия Антиохийского и Кирилла Александрийского, “Жемчужины” Иоанна Златоуста. При осмыслении современных ему событий, Аввакум осуществляет перенос значения известного текста на собственный. Так, во вступлении к своему жизнеописанию он интерпретирует произведения Дионисия Ареопагита, ученика апостола Павла, проводя параллели между событиями прошлого и настоящего. Протопоп упоминает якобы описанное Дионисием затмение солнца, которое тот наблюдал во время казни Христа: “А в нашей России бысть знамение: солнце затмилось в 162 году, перед мором за месяц или меньше (... ) солнце померче, от запада луна подтекала, по Дионисию, являя бог гнев свой людям: в то время Никон отступник веру казил и законы церковныя (... ) Потом, минув годов с четырнатцеть, вдругоряд солнцу затмение было (... ) и протопопа Аввакума, беднова горемыку, в то время с прочими остригли в соборной церкви власти и на Угреше в темницу, проклинав, бросили”. Таким образом страдания свои и своих “соузников” протопоп Аввакум сопоставлял со страданиями Христа и осмысливал тем самым свою судьбу как часть всего пути христианства.

Осмысление жизненного пути реализуется и в развернутой м е т а ф о р е - с и м в о л е, когда в самом начале повествования о событиях своей жизни Аввакум рассказывает увиденный им сон: «Вижу плывут стройно два корабля златы (... ) А се потом вижу третьей корабль, не златом украшен, но разными пестротами (... ) И я вскричал: “чей корабль?” И сидяй на нем отвечал: “твой корабль! На, плавай на нем с женою и детьми, коли докучаешь!” И я востреспетах и седше рассуждаю: что се видимое? и что будет плавание?». Выражаемый здесь

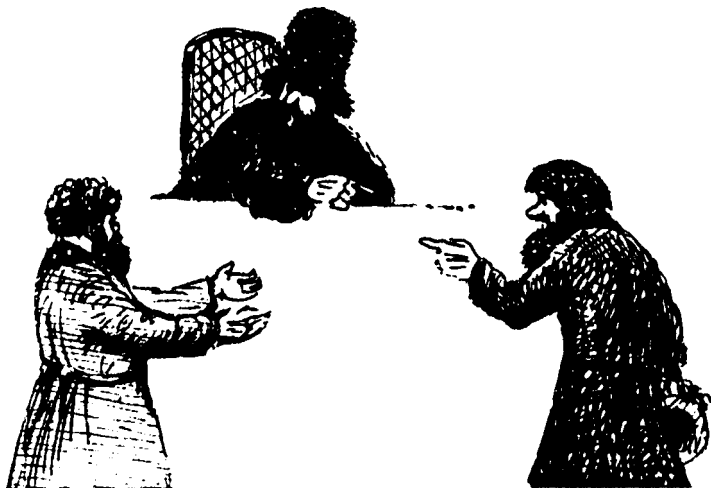


смысл актуализируется с помощью риторических вопросов. Автор не дает прямых ответов на них и не растолковывает сон, но начинает рассказ о своей жизни. Весь текст “Жития”, его жанр, сюжет, композиция, система образов – попытка ответа на вопрос “что будет плавание?” На божественную предопределенность жизни-странствия иносказательно указывают эпитеты – *скончались богоугодне, юноша светел; м е т а ф о р а – наставили на путь спасения* и традиционный христианский с и м в о л *корабля*.

Это странствие – путь страданий, о которых подробно и отчетливо рассказывает Аввакум. Страдание – концептуально значимый для него смысл, о чем свидетельствуют метафоры в “Житии”. Состояния души осмысливаются через сопоставление с телесными ощущениями: *холод* – “сердце озябло и ноги задрожали”; *ожог* – “разболевся, внутр жгом огнем блудным”; “разжегся ревностью божественного огня”; *болезнь* – “душу свою извращевала”; *голод* – “душа брашна духовнаго желает; “душе моей тогда горько и ныне не сладко”. Таким образом, метафорически осмысливаются и выражаются разные оттенки душевных и физических страданий. Смысл земных страданий – вечная жизнь, полученная в награду за них, и неограниченная власть – в награду за владение собой: “Видишь ли самодержавне? Ты владеешь на свободе одною русскою землею; ты от здешняго своего царства в вечный свой дом пошедше, только возьмешь гроб и саван, аз же, присуждением вашим, не сподоблюся савана и гроба, но наги кости мои псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачимы; так добро и любезно мне на земле лежати и светом одеянну и небом прикрыту быти; небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь – бог мне дал, якож выше того рекох”, обращается протопоп Аввакум в своей последней челобитной к царю Алексею Михайловичу.

Анализ форм иносказания позволяет понять мировосприятие человека, жившего в далеком прошлом, а сокровенные смыслы, будучи в иносказании утаенными, в то же самое время оказываются нам близки и понятны.

Троицк,  
Челябинская область



### *Поле, недельщик, противень*

#### Древнерусская юридическая лексика

О. В. НИКИТИН

В судебных законодательных актах Древней Руси содержится немало интересных и ныне почти забытых слов, отражавших систему делопроизводства и письменный речевой обиход. Не исключено, что юридические термины применялись не только при записи тяжбы или для иного правового вопроса, но могли употребляться и в устной речи, закрепившись в быту. Из века в век такие “диговинные словечки” кочевали, “обрастая” новыми значениями, оттенками смысла, приобретали нужные акценты.

Обратимся к характерным примерам, извлеченным из Судебника 1497 года – первого после Русской Правды и древнейших законодательных актов Киевской Руси свода законов гражданского права. В статьях 4–7 этого памятника и далее неоднократно встречается слово *поле*: “О *полевых* пошлинах. А досудятся до *поля*, а у *поля* не стояв, помиратья, и боярину и диаку по тому росчету боярину с рубля два алтына, а диаку осьмь денег; а околничему, и недельщиком пошлин *полевых* нет” (Ст. 4); “А у *поля* стояв помиратья, и боярину и диаку имати по тому ж росчету пошрины свои” (Ст. 5); “А побияются на *поли* в заемном деле или в бою, и боярину с диакомъ взяти на убитом противень противу исцева” (Ст. 6); “А побияются на *поли* в пожеге, или

в дшегубстве, или в разбои, или в татбе, ино на убитом исцево доправити; да околничему на убитом полтина на доспех, а диаку четверть, а неделщику полтина, да неделщику ж вясчего 4 алтыны” (Цитируется по книге: Судебники XV–XVI веков. М.–Л., 1952; курсив в цитатах наш. – О.Н.).

*Поле* – один из древнейших русских юридических терминов, обозначающих судебный поединок как способ разрешения тяжбы и фиксируется в этом значении, по крайней мере, с первой трети XIII века (по данным Словаря русского языка XI–XVII вв.). Есть устойчивое сочетание, употреблявшееся в деловых текстах, например, в Псковской судной грамоте, – *присужати поле*, т.е. “выносить судебное решение о поединке как способе разрешения тяжбы” (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1990. Вып. 16). Судебник дает три возможных исхода такого поединка: 1) участвующим в тяжбе будет присуждено поле, но они, не выйдя на судебный поединок, окончат дело миром; 2) тяжущиеся примирятся, уже выйдя на судебный поединок; 3) поединок состоится. В зависимости от того, как разрешится поле, изменяется и величина судебных (“полевых”) пошлин.

И позднее, в XVI веке, уже в публицистических, литературных сочинениях И.С. Пересветова данное слово отмечено, но с осуждением такого действия как средства разрешения судебных споров. Так, он писал в челобитной: “...и во обидах присужают поля, и в том на обе стороны много греха сотворяют, крест целуют на виновате обои исцы и ответчики: один, приложив, ищет к своей обиде, а другой всее обиды запрется, и в том обои в гресех погибают...” (Ржига В.Ф. И.С. Пересветов, публицист XVI в. М., 1908).

Этот юридический обычай подметили и иностранцы, побывавшие в Московской Руси. Так, С. Герберштейн рассказывал о судебной тяжбе, завершившейся полем: «Представленный на суд виновный по большей части отрицает возводимое на него обвинение. Если истец приводит свидетелей, то спрашивают обе стороны, желают ли они положить на их слова. На это обыкновенно отвечают: “Пусть свидетели будут выслушаны по справедливости и обычаю”. Если они свидетельствуют против обвиняемого, то обвиняемый немедленно вступается и возражает против свидетельств и лиц, говоря: “Требую назначить мне присягу, вручаю себя правосудию Божию и требую поля и поединка”. И, таким образом, им, по отечественному обычаю, назначается поединок» (Герберштейн С. Записки о московитских делах. СПб., 1908).

Другим распространенным термином древнерусского права является *недельщик*. Оно обозначает “лицо, состоящее на государственной службе и выполняющее свои обязанности в очередь с другими, сменяясь по неделям. Функции недельщиков – выполнение поручений судебной власти, содержание под стражей преступников, сопровожде-

ние иностранных послов и т.п.” (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1986. Вып. 11).

В контексте Судебника 1497 года отмеченное слово неоднократно встречается в значении “агента” феодальных судебных органов, обладающего властными полномочиями. Это отчетливо видно в уже приведенных примерах из статей 5–7 Судебника. Причем активное использование этого термина наблюдается именно со времени Судебника 1497 года (по данным “Словаря русского языка XI–XVII вв.).

Более подробно о функциях недельщиков говорится у С. Герберштейна: “...недельщик есть до известной степени общая должность для тех, кто зовет людей на суд, хватает злодеев и держит их в тюрьмах; и недельщики принадлежат к числу благородных”. И далее: “...всякий, желающий обвинить другого в воровстве, грабеже или убийстве, отправляется в Москву и просит позвать такого-то на суд; ему дается недельщик, который назначает срок виновному и привозит его в Москву” (Герберштейн С. Указ. соч.).

Еще одно интересное слово из юридического обихода Древней Руси – *противень*. Оно имеет несколько значений. Это может быть и “список, копия (документа)”, и “вид судебной пошлины, взимавшейся с лица, признанного по суду виновным, а также с обеих примирившихся сторон” (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1995. Вып. 20). В нашем контексте применяется только второе определение, например, фрагменты из ст. 6, а также: “А *противень* и продажа боярину и диаку делити: боярину два алтына, а диаку осьмь денег...” (ст. 8); “...и ему имати на виноватом *противень* по грамотам...” (ст. 38); “А побияются на поли, и ему имати вина и *противень* по грамоте. А где нет грамоты, а помиряются, и ему имати *противень* вполы исцева, то ему и с тиуном. А побияются на поли в заемном деле, или в бою, и еме имати *противень* против исцева” (Там же). Сопоставляя сказанное об этом термине, можно предположить, что *противень* – “это пошлина, взыскивавшаяся в пользу судебных органов с признанного по суду виновным”.

Мы рассказали только о трех словах, получивших широкое распространение в судебной практике XV века и включенных в общерусский законодательный свод того времени. Естественно, что этим не ограничивается юридическая терминология, получившая со временем все большее хождение в публицистических, художественных и бытовых текстах Московского государства.

**Гагарин и Демидов**  
**ИЛИ**  
**Гжатск и Поречье?**

*И. А. КОРОЛЕВА,*  
*доктор филологических наук*

В последние годы возросло количество переименований старинных городов, вернее сказать – восстановлений названий, которые имеют историческую ценность: *Калинин* вновь стал *Тверью*, *Куйбышев* – *Самарой*, *Свердловск* – *Екатеринбургом*, *Ленинград* – *Санкт-Петербургом*, *Андропов* – *Рыбинском*... Список можно продолжить.

В этом очерке хотим обратить внимание читателей на географические названия Смоленщины – этой древней и самобытной русской земли, столь много испытавшей и столь много давшей России и миру. Почти все они достаточно своеобразны и представляют собой языковые памятники истории и культуры смолян. Самые ранние появились еще в те далекие времена, когда на территории края проживали племена балтов и финно-угров, а с VI века начали закрепляться славянские названия. В здешних местах возникли поселения сильного и многочисленного восточнославянского племени кривичей. Через толкование многих именованний мы можем заглянуть в прошлое природных ландшафтов и проследить их изменения, можем наблюдать за различными миграционными процессами наших предков, восстановить забытые слова родного языка, значения имен и прозвищ древних смолян. Вчитайтесь в названия древнейших смоленских городов: *Смоленск* (IX в.), *Рославль* (XI в.), *Дорогобуж* (XII в.), *Вязьма* (XIII в.), *Демидов* (*Поречье* – XV в.), *Гагарин* (*Гжатск* – XVIII в.). О двух последних и поговорим подробнее.

Территория, где расположен старый *Гжатск* (ныне *Гагарин*), заселена с незапамятных времен, о чем свидетельствуют археологические памятники. Здесь встречаются древние городища, относящиеся к железному веку, курганы – места погребения славян еще до принятия христианства (данные экспедиции Института археологии АН СССР 60-х гг. XX в. в связи со строительством Вазузского водохранилища). Долгое время гжатские земли были пограничными между Московской Русью и Великим княжеством Литовским, позднее Польско-Литовским государством. И только после того как в 1654 году Смоленск и его территории (в том числе и гжатские) навсегда отошли к Москве,

положение жителей несколько стабилизировалось: окрестные торговые села стали играть заметную роль в обеспечении центра хлебом.

С основанием Петербурга поток грузов получил иное направление. Заботясь о снабжении продовольствием новой столицы, Петр I приказал построить на реке Гжати перевалочную пристань. 1719 – год официального открытия пристани – стал считаться датой основания города, хотя существует предположение, что поселение на этом месте существовало еще в XV веке (Город Гагарин. Очерки истории г. Гагарина и Гагаринского района. Смоленск, 1984).

Название города дано по названию реки – *Гжатск*, *Гжать*. В смоленских говорах иногда встречается форма топонимов *Аржатск*, *Аржать*, что помогает объяснить значение имени, которое образовано от существительного *ржа*, *аржа* – “ржавая вода” (Веселовский С.Б. Ономастикон. М., 1974). И действительно вода в Гжати буроват цвета, имеет какой-то красноватый оттенок.

Окончательный статус уездного города Гжатск приобрел 22 февраля 1776 года по указу Екатерины II. Через четыре года после этого городу был присвоен герб с изображением барки на голубой (традиционный цвет) поверхности реки и пушки на зеленом фоне (Город Гагарин).

В честь первого космонавта СССР, уроженца гжатской земли Юрия Гагарина, Президиум Верховного Совета РСФСР 23 апреля 1968 года после трагической гибели космонавта издал указ о переименовании *Гжатска* в *Гагарин* и *Гжатского района* в *Гагаринский*. Стоило ли это делать? Безусловно, чтить память первого космонавта необходимо, подвиг его останется в нашей памяти. Но для этого есть другие возможности: музеи, мемориалы, памятники, книги, картины, выставки... 9 марта в день рождения Гагарина ежегодно (с 1974 г.) проводятся Гагаринские чтения. Его именем называют школы, корабли, новые улицы...

А вот город, старый русский город с его прошлым и настоящим... Да и родился первый космонавт не в самом Гагарине, а в селе Клушине, расположенном в 20 километрах от города, которое тоже вошло в историю: в Отечественную войну 1812 года именно в этих местах действовал отряд легендарного Дениса Давыдова.

Кстати, против переименования города был отец Юрия Гагарина. Смоленский литератор Семен Дмитриевич Казаков, хорошо знавший семью Гагариных, в своей книге “Юрий Гагарин: портрет без ретуши” приводит такие слова ныне покойного Алексея Ивановича: “Память увековечивать надо так, чтобы не нарушать историю. Петр I основал Гжатск. Это ж не царское название, только по цареву указу. У нас в Клушине и в других местах много людей хороших, знаменитых – это хорошо. И вот кто-то подрастет и совершит геройство больше, чем Юрка... Тогда как, опять название переделывать?”

Он также категорически возражал против изменения имени одного из родственников: “Другого Юрки Гагарина не будет. А фамилия наша и так в памяти останется” (Казаков С.Д. Юрий Гагарин. Портрет без ретуши. М., 1991).

Фамилия же *Гагарин* очень ранняя, еще боярская, произошла от второго нехристианского имени известного князя Михаила Ивановича Гагары Голибесовского-Стародубского (вторая половина XV в.). Слово *гагара*, от которого это имя образовано, имеет два значения: прямое – “водяная птица” и переносное – “весельчак, зубоскал”. После космического полета один из потомков русских князей Гагариных, живущий в Америке, объявил первого космонавта своим родственником. В действительности же Ю.А. Гагарин – потомок княжеских крепостных, которые после реформы 1861 года были записаны под фамилией бывших владельцев, т.к. крепостные фамилий не имели.

Есть еще один древний город на Смоленщине – *Демидов*. Когда-то он назывался *Поречье*, и это имя впервые отмечается памятниками письменности в XV веке. *Поречье* – “место у реки”. Поречье, как и Гжатск, долгое время было “порубежной” землей, неоднократно переходившей из рук в руки: здесь были литовцы, русские, поляки, опять русские. Окончательно Поречье присоединилось к России в 1654 году.

При Екатерине II дворцовое село Поречье преобразовалось в уездный город, в его честь учрежден герб. Изображенная на нем серебряная река со стрелой вдоль течения символизирует движение грузов: Поречье издавна снабжало самыми разнообразными товарами северо-западные земли, Прибалтику.

Со старым Поречьем связаны имена многих известных на Руси людей, но в 1918 году в память об убитом контрреволюционером секретаре уездного комитета РКП(б) Я.Е. Демидове местные власти приняли решение о переименовании *Поречья* в город *Демидов*, а *Поречского* уезда в *Демидовский*. Решение уездного Совета поддержал губисполком, утвердил ВЦИК (Махотин Б.А. К живым истокам. Смоленщина в географических названиях. Смоленск, 1989).

Так и исчезло с карты России красивое русское название – *Поречье*.

Давайте же задумаемся; не лучше ли вернуться к нашим корням и истокам, не умаляя при этом памяти о героях, используя для их увековечивания другие возможные варианты.

*Смоленск*



## Колыван-богатырь и Пучай-река

### *Русский былинный изафет*

*З. К. ТАРЛАНОВ,*

*доктор филологических наук*

В русском былинном именнике особый интерес представляют словосочетания, характерные именно для жанра былины. Речь идет, в частности, о словосочетаниях, извлеченных из “Онежских былин” А.Ф. Гильфердинга (Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные летом 1871 года. СПб., 1873; Васильев Н.В. Указатель к “Онежским былинам” Гильфердинга. СПб., 1909).

1. Имена персонажей: Аника-воин, Бухарь-царь, Гагарины-воры, Галин-царь, Ефим-паробок, Иван-царевич, Калин-царь, Колыван-богатырь и т.д.

2. Географические названия-ойконимы: Азов-город, Березово-село, Казань-град, Карачаево-село, Качегарово-село, Китай-город, Киянов-город и т.д.

3. Географические названия-гидронимы, названия лесов, полей, гор: Волга-река, Волхов-река, Вятла-река, Дунай-река, Елисей-река, Ердан-река и т.д.



4. Названия камней, металлов, храмов и других строений: Антавент-камешек, олатырь-камень, Михаил архангел (церковь его имени).

Наименования по этой синтаксической схеме не составляют исключительной принадлежности к фольклорным произведениям. Аналогичные конструкции вполне обычны, например, в разговорной речи персонажей автобиографической трилогии М. Горького: “Проболтался я по ветру некоторое время и приснастился к старичку-володимерцу, офене, и пошли мы с ним сквозь всю землю: на Балкан-горы ходили, к самым – к туркам”; “Есть город Белгород, стоит на Дунай-реке, вроде Ярославля... “(Яков Шумов. “В людях”); “Никола и станет дома продавать, – нет у него, Николы-батюшки, никакого дела лучше-то!” (“Детство”).

Все рассматриваемые конструкции по их синтаксической сущности представляют собой сочетания определяемого слова, выраженного собственным именем, с определяющим-приложением. При этом смысловые отношения между ними полностью укладываются в отношения видо-родовые: собственное имя реализует видовое значение, а приложение – родовое.

В русском языке уже к XVII веку сложилась тенденция, согласно которой компоненты предложения, выражающие определительные (атрибутивные) отношения, стали занимать левостороннюю позицию (препозицию).

Что же касается древнерусского периода, то он характеризовался почти свободным варьированием препозиции и постпозиции определяющего слова по отношению к определяемому.

Следовательно, постпозиция родового слова в былинных текстах (*Колыван-богатырь*, *Муром-город*, *Пучай-река*) – это то, что должно быть приурочено к древнейшему периоду в истории русского синтаксиса (к XI–XII вв.), когда она являлась нормально вариативной, факультативной.

Однако возникает вопрос: почему в былинных текстах не нашли отражения сочетания с препозицией родового слова (типа *богатырь Колыван*, *река Пучай*)?

Утверждению и закреплению в былинных текстах атрибутивных сочетаний с постпозицией родового слова мог способствовать ряд обстоятельств.

1. При всей позиционной свободе определяющего слова в подобных конструкциях все же в постпозиции оно теснее сливалось с определяемым в единое целое.

Родовое слово в постпозиции не столько определяло другое слово, слово-предмет, выделяя его из группы, серии аналогичных (именно к этому в принципе и сводится функция атрибута), сколько подчеркивало, усиливало его единичность.

Такой смысл постпозитивного приложения явно виден при сравнении: *Пучай-река* и *река Пучай*. Во втором случае компоненты не сли-

ты, между ними возможны вставки, паузы: второй член целого предстает как один из аналогичных, поэтому может быть заменен иным подобным. Тем самым вторая структура – открытая, проницаемая, в отличие от первой – закрытой, монолитной, непроницаемой.

В принципе, по той же логике построены известные атрибутивные сочетания сакральных текстов *Бог наш, Отче наш*, но не наоборот – это исключено: *Кто бо велик яко Бог наш; Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя; Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша*. Количество таких примеров легко умножить.

Тот факт, что в этих сакральных текстах определение выражено притяжательным местоимением и/или прилагательным, не меняет дела, поскольку речь идет о статусе постпозитивного определения в целом: оно скорее выполняло подчеркивающе-ограничительную функцию, чем собственно атрибутивную.

2. Именно эта, а также единично-объективирующая функция постпозитивного приложения наилучшим образом согласовывалась, гармонировала с жанровыми потребностями былин, с природой имен былинных персонажей, географических названий былин и т.д.

Былинные богатыри, как известно, действуют индивидуально. Все решается в единоборстве. Если даже они вместе встречают врага, то одолевают его по отдельности, по очереди. Столь же индивидуальны и места перемещения былинных персонажей.

Одним из языковых средств реализации этого закона, этой нормы жанра и является постпозитивное приложение. Вынесенное в препозицию, родовое слово *богатырь (богатырь Кольван)*, определяющее функциональный статус былинного персонажа, лишает его единичности, неповторимости, как бы открывая, начиная ряд, состоящий из персонажей, занятых одной и той же деятельностью, и только выделяя кого-то одного из их группы.

Приведем для сравнения пример современной языковой нормы. Когда мы говорим *студент Иванов, профессор Сидоров*, то исходим из того, что есть студенты и профессора, и Иванов – один из студентов, Сидоров – один из профессоров.

Такая норма для былин неуместна. Это противоречило бы их поэтике. Поэтому в былинных текстах действуют не *богатырь Кольван*, не *богатырь Косогор*, не *богатырь Святополк*, не *богатырь Собор* (в смысле – один из многих), а *Кольван-богатырь, Косогор-богатырь, Святополк-богатырь, Собор-богатырь*, то есть *богатырь* как индивидуальность, единичность, неповторимость. Точно так же география былин включает в себя не города Азов, Муром, Казань, Кряков и т.д., а *Азов-город, Муром-город, Казань-град, Кряков-город*; не реки Вятлу, Дунай, Елисей, Казань, Москву, Мошу, Неву, Пучай и т.д., а *Вятлу-реку, Дунай-реку, Елисей-реку, Казань-реку, Москву-реку, Неву-реку, Пучай-реку*.

3. По своей монолитности, непроницаемости, характеру отношений между компонентами конструкции типа *Колыван-богатырь*, *Пучай-река* могут быть обозначены как *изафетные* (от араб. *izafetun* “прибавление, присоединение”).

Среди обычно выделяемых разновидностей изафета – арабского, персидского и тюркского – русский былинный изафет полностью идентичен обращенному тюркскому, считающемуся наиболее архаичным (Старостин Б.А. О структуре и историческом развитии антропонимии арабского происхождения // Антропонимика. М., Наука, 1970. С. 281–285). По составу, порядку следования компонентов и отношениям между ними былинные конструкции *Колыван-богатырь*, *Пучай-река* абсолютно параллельны тюркским.

Если иметь в виду, что тюркский изафет с постпозицией родового слова является архаичным, а русская былинная формула *Колыван-богатырь* соответствует именно этому типу изафета, то этот факт служит косвенным дополнительным свидетельством архаичности этой былинной формулы.

Русский былинный изафет – это явление того древнейшего периода в истории русского синтаксиса, когда постпозиция определяющего слова по отношению к определяемому была вариативной, в соответствии с общим слабо централизованным строем простого предложения.

Именно постпозиция родового слова закрепляется в былинных текстах как наиболее гармонизировавшая с поэтикой былинного жанра с его подчеркнутым вниманием к эпическому герою, персонажу или к местам его подвигов.

Жанровая закреплённость содействовала сохранению изафетной конструкции в былинах и позже, когда по общим синтаксическим тенденциям определяющее слово атрибутивного двучлена в русском языке утверждается в препозиции.

Зародившись, таким образом, на собственно древнерусской синтаксической основе, былинный изафет, безусловно, был поддержан и иноязычным, тюркским, влиянием. Контакты с носителями тюркско-татарских языков были в Древней Руси и тесными, и длительными.

Вместе с тем, с другой стороны, былинный изафет как архаичная конструкция может рассматриваться в качестве одного из объективно-языковых подтверждений древности самих былинных текстов, о чем убедительно писал Б.А. Рыбаков с опорой на параллельные им показания летописей.

*Петрозаводск*

## Петрушка – “горный сельдерей”

Л.А. БАРАНОВА,

кандидат филологических наук

Как известно, петрушка и сельдерей – растения, имеющие некоторое внешнее сходство, однако в их названиях ничего общего, на первый взгляд, нет. А между тем, одно произошло от другого. Впрочем, оба эти слова являются заимствованиями из разных языков, и все изменения и превращения названий этих растений произошли в других языках задолго до появления их в русском.

Сельдерей был известен еще в Древнем Египте и в Древней Греции, он упоминается в “Илиаде” и “Одиссее”. Знали его и в Древнем Риме в качестве декоративного растения. В Европе получил распространение в XVI–XVII веках. Название его в большинстве европейских и славянских языков (в том числе, и в русском) восходит, как отмечается во всех этимологических словарях, к латинскому *selinum*, а оно, в свою очередь, к греческому *selinon: célery* (англ.), *Sellerie* (нем.), *céleri* (франц.), *selerija* (латыш.), *saleras* (лит.), *selleri* (финск.), *celer* (чеш.), *zeler* (слвц.), *seler* (пол.), *целина* (болг.), *целер* (сербохорв.), *селера* (укр.), *сельдэрэй* (белор.).

Русским языком это название, вероятнее всего, было заимствовано из немецкого, а им в свою очередь из французского, и это не вызывает сомнения у большинства исследователей. Мнения разошлись лишь по вопросу о причинах возникновения -д- в русском варианте названия этого растения: происхождение его либо считается неясным, либо объясняется действием закона аналогии, либо предполагается иной источник заимствования всего слова: “Сельдерей. Заимств. в XVIII в. из нем. яз. Нем. *Sellerie* < франц. *celeri*, восходящего к лат. *Selinum*, передающему в свою очередь греч. *Selinon*. Происхождение звука -д- неясно” (Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. Изд. 2. М., 1975); “...Новое заимствование из нем. *Sellerie* – “тж.”; -д- появилось, вероятно, под влиянием привычного сочетания -льд- в *сельди*- “(Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. 1910–1914); “сельдерей, также *сел(а)ре́й*, народн. *сендерей*, петерб. Заимств. из голл. *selderij*; формы без -д-, возм., из нем. *Sellerie* – то же от франц. *céleri*...” (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. III).

Родиной петрушки ботаники считают страны Средиземноморья, хотя первые сведения о ней дошли из Древнего Египта. Там (а также в Древней Греции и в Древнем Риме) она считалась символом горя, пе-

чали, а веночек из петрушки был знаком скорби. В пищу ее начали применять в средние века, в России же стали выращивать только в XIX веке, хотя слово *петрушка* известно в русском языке с XII века (Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1994. Т. II). В диком виде на своей родине она росла среди камней и скал, и, вероятно, с этим связано ее древнегреческое название *petroselinon* (от *petros* – “камень” или *petra* – “скала”; *selinon* – “сельдерей”), которое обычно переводится дословно как “горный” или “каменный сельдерей”, либо “сельдерей, растущий на скалах”. В латинском языке греческий *petroselinon* превратился в *petroselinum*, ставший основой для названия этого растения во многих европейских и славянских языках: *Petersilie* (нем.), *parsley* (англ.), *persil* (франц.), *prezzemolo* (итал.), *perejil* (исп.), *petersilis* (латыш.), *petrazole* (лит.), *persilja* (фин.), *petrkel*, *petrzei* (чеш.), *petržlen* (слвц.), *peteršilj* (словен.), *pietruszka* (пол.), *першун* (серб.), *пятрушка* (белорус.), *петрушка* (рус., укр.).

Что же касается путей превращения древнегреческого “горного сельдерей” в знакомую нам *петрушку*, то здесь авторы этимологических словарей достаточно единодушны: “Заимств. из польского языка. Польск. *pietruszka* через посредство немецкого языка усвоено из лат. *petroselinum*, в котором оно в свою очередь из греческого языка...” (Шанский. Указ. соч.; Преображенский. Указ. соч.; Фасмер. Указ. соч.). В Словаре А. Преображенского вносится лишь небольшое уточнение: русским языком, по предположению автора, это слово было заимствовано из польского не напрямую, а через посредство украинского языка.

Позднее в русском языке возникло выражение *всякая петрушка* – в значении “разная мелочь, пустяки, ерунда”. Л.В. Успенский в своей книге “Слово о словах” (Л., 1971) высказывал предположение, что «оно, вероятно, связано с обыкновением поваров сдабривать супы мелко нарезанными корешками, в том числе и “всякой петрушкой”».

Симферополь,  
Украина

## Бутлегеры, контрабандисты, самогонщики

А. В. ЗЕЛЕНИН,

кандидат филологических наук

Слово *бутлегер* пришло в русский язык совсем недавно из американского английского, где ассоциировалось со временем *сухого закона*. Это был период ограничения изготовления и продажи спиртных напитков, что породило контрабандную доставку и нелегальную торговлю ими. Так появились бутлегеры и возродилось старое понятие *bootleg* “незаконные, нелегальные спиртные напитки”, на его базе возник также глагол *to bootleg* “нелегально заниматься перевозкой и продажей спиртных напитков”. Где же был источник? В памяти американцев еще бродили смутные воспоминания о незаконных торговцах и торговле контрабандным алкоголем среди индейского населения Америки в середине XVIII века. Пытаясь обойти запрет правительства на продажу алкоголя на индейских территориях, контрабандисты прятали (*to leg* “положить”) алкоголь в голенища высоких сапог (*boot* “обувь”), именно тогда это послужило мотивом появления в сленге целого словообразовательного гнезда: *bootleg* “нелегальный, контрабандный алкоголь”, *bootlegger* “торговец таким алкоголем”, *bootlegging* “незаконная продажа такого алкоголя”.

Почти сто лет эти слова оставались на периферии языка, будучи жаргонными, однако к концу XIX века они вернулись в живой речевой обиход американцев: раньше бутлег(г)еры торговали только на землях индейцев, теперь контрабандисты пытались заработать на нелегальном провозе и продаже алкоголя во многих американских штатах. Американские газеты конца XIX века именовали таких торговцев нейтральным обозначением *liquor dealers* “торговцы крепкими спиртными напитками”, иногда снабжая в скобках пояснением: “или – как они себя именуют – бутлеггеры (*bootleggers*)”. Пик активности контрабандной деятельности бутлегеров пришелся на годы Первой мировой войны, и это старое сленговое обозначение стало столь широко употребляться в американском английском, что затмило прямой смысл. Приведем для примера несколько характерных словосочетаний из американских газет того времени: *bootleg liquor* “контрабандный алкоголь”, *bootleg days* “букв.: контрабандные дни; перифраз для обозначения времени действия сухого закона в 1920–1933 гг.”, *bootleg coffe* “букв., контрабандный кофе; эвфемизм для обозначения алкоголя, подаваемого в чашках для кофе”, *bootlegging wiski* “контра-

бандное виски”, *arrest for bootlegging* “арест за контрабандный алкоголь” и под.

Это название уже в 20–30-е годы XX века попало в европейские языки как американская реалия-варваризм. В русский же язык слово проникло поздно, впервые было отмечено лишь в “Словаре иностранных слов” (1979 г.) как американский историзм. “Англо-русский словарь” (The english-russian dictionary. Oxford, 1984), изданный в Оксфорде, глагол *bootleg* толкует как “заниматься самогонокурением; торговать самогоном”, *bootlegger* – “самогонщик”. Едва ли такой перевод следует признать удачным. Многие подготовленные в советское время словари также отмечают в этом английском понятии семантический элемент “самогонный, самогонварение”, что соответствует русскому понятию весьма приблизительно. “Англо-русский словарь” (под ред. В.Д. Аракина) дает *bootlegger* как “амер. Торговец контрабандными или самогонными спиртными напитками”.

Трудности перевода этого слова существуют, конечно, и сейчас, что отражает лишь частичное, неполное совпадение смысловых объемов русского (*самогон, самогонщик*) и американского (*bootleg, bootlegger*) понятий. Однако сам факт такого перевода показателен: с помощью своих, знакомых понятий (*самогон, самогонный, самогонщик*) зарубежная (американская) реалия “приближалась” к нашему быту и языку, хотя она осмыслялась как специфическое американское понятие.

Последнее десятилетие XX века дает поразительный всплеск употребительности и активности американизма *бутлег(г)ер* на русской языковой почве: он выходит с лексической периферии и все более настойчиво стучится в дверь публицистических и художественных текстов: “*Бутлегеры*” (название повести О. Логинова и заметки в газете, Карелия. 2000. 2 дек., заголовка в липецкой “Милицейской газете для всех 02”. 1999. № 8); “*Угро* [уголовный розыск. – А.З.] *против бутлегеров – тьфу*” (заголовок в петербургской газете “Час пик” 2002. № 23); “*Бутлегеры и рынок*” (название заметки в “Северном курьере”. 1999. 28 мая); «*Сибирские “бутлегеры” лишили государство 260 млн. рублей*» (название заметки в газете “Континент Сибирь” 2001. 23 нояб.) и мн. др. Частотность американизма как в центральной, так и региональной прессе свидетельствует о постепенном проникновении его в языковой багаж “среднестатистического” россиянина (не только жителя большого города, но и глубинки).

Мало того, освоение иностранного понятия наблюдается не только в территориальном расширении, но – что гораздо важнее – во включении его в словообразовательную систему русского языка: *бутлегерский шинок; бутлегерская продукция; бутлегерская точка; бутлегерская война; бутлегерский пароход; бутлегерский синдром; бутлегерский бизнес; бутлегерский цех; бутлегерские бочки; бутлегер-*

ская деятельность; бутлегерский бар; бутлегерские штаб-квартиры; заниматься бутлегерством; рост бутлегерства; центр бутлегерства; борьба с бутлегерством; процветающее бутлегерство; ирбитская бутлегерша; нигде не работающая 28-летняя бутлегерша; милиция гоняет бабок-бутлегери; прокуратура возбудила в отношении бутлегерши уголовное дело; пожилая бутлегерша; бутлегинг и прочее приносят большой доход; набирающий к тому моменту обороты бутлегинг и т.д. Обращает на себя внимание относительное прилагательное *бутлегерский*, которое становится универсальным заменителем старых синонимов *самогонный, контрабандный, нелегальный, незаконный, фальсифицированный*. Почему так происходит? Очевидно, ответ кроется в “непонятности” и “престижности” этого американизма, который придает больше “семантического веса” обычным обозначениям. Дело доходит до комичного: кому придет в голову называть бабку, (пере)продающую бутылку водки, *бутлегершей*?.. Или, например, такой пассаж в одной региональной газете: “31-летняя бутлегерша при розливе самопальной водьяры, по всей видимости, очень заботилась об имидже” (“Молодой дальневосточник”). Кажется, в этой фразе собран весь набор стилистических и лексических особенностей, характеризующих язык низкопробных печатных изданий: и обилие “красивых” заимствований (*бутлегерша, имидж*), и разговорная стихия (суффикс *-ш, самопальная водьяра*), и книжная стилистика (*по всей видимости*). Чем не “букет непрофессионализма”?..

Следует упомянуть, что в современном языке орфография существительного *бутлегер* неустойчива: хотя орфографические словари рекомендуют писать его с одним *г* (*бутлегер*), однако в публицистике количество случаев написания *бутлеггер* отнюдь не уступает рекомендуемой форме *бутлегер*, что отражает, видимо, орфографическое следование оригиналу: *неуловимые бутлеггеры, местные бутлеггеры, расследование деятельности бутлеггеров* и т.п. Конечно, можно “заставить” слово *бутлегер* “писаться” с одним *г* (в конце концов, это только условность), однако современная речевая практика показывает что еще рано ставить точку в безапелляционной констатации *бутлегера* с одним *г*; последнее слово все-таки останется за языком и – нашей с вами привычкой.

Существительное *бутлег(г)ер* и прилагательное *бутлегерский* вторглись на семантическую территорию, уже занятую, освоенную другими лексемами. Да, за ними новизна, натиск и напор молодой стихии, за ними “престижность”, заключающаяся в малопонятности и “иноязычности”, а потому частое употребление не по назначению. В русском языке они оказались на месте старых обозначений разговорного или жаргонного характера *барышник, торгош, скупщик, перекущик, переторговец, кулак, маклак, маяк, прасол, прах, базарник, тархан, орел, варяг* (таков набор названий перекупщиков был в



русском языке к середине XIX в.) или новых, заимствованных слов *контрабандист*, *спекулянт*.

Иноязычные обозначения пришли в русский язык в разное время. Слова *контрабанда*, *контрабандист* самые старые из них. Они проникли в русский язык дважды: сначала в начале XVIII века из итальянского *contrabando* и в конце XVIII века из французского *contrebande*: *контрабанда*, *контробанда*, *контребанда*, *кондробанда*, *контрабанд*, *контробанд*, *контрабант*; *контрабандицик*; *контребандир* (именно таким “двойным” заимствованием из итальянского и французского вызвана их неустойчивая графическая форма в текстах той поры). В начале XIX века это понятие попадает уже в “Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту...” Н. Яновского: “Под словом *Контребандные товары* разумеются все те, кои ввозить или вывозить из какой либо страны запрещено Правительством” (Ч. 2).

Из варваризмов эти обозначения довольно быстро перешли в разряд общелитературной лексики и все чаще стали встречаться в художественной литературе: “И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг *честных контрабандистов?*” (Лермонтов. Герой нашего времени).

В первые десятилетия XIX века в русский язык приходит понятие “спекуляция” (уже у Пушкина в статье “Вольтер”, 1836 г.) и немного позже “спекулятор” (“Новый объяснительный словарь иностранных слов, употребляемых в русском языке” В.Н. Углова. СПб., 1859), “спекулянт, спекулировать” (“Полный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка...” СПб., 1861), “спекулятивный” (“Объяснение 25 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней” А.Д. Михельсона. М., 1865). Семантические отличия последних обозначений от слов *контрабанда*, *контрабандист* очевидны: в понятии “контрабанда” ведущим оказывается смысл “провоз через границу, таможенную запрещенных товаров”, в понятии “спекуляция” – “перепродажа с целью получения барыша”, однако их общей, “пересекающейся” смысловой областью будет сема “незаконный, нелегальный; добытый нечестным путем”.

В этой системе приведенных обозначений (как мы видим – весьма разветвленной) новый варваризм *бутлегер* (*бутлегерство*, *бутлегинг*, *бутлегерский*) оказался “своим”, очевидно, по той “простой” причине, что называет отсутствовавшую до сих пор в русском языке реалию и понятие, связанное с нелегальным производством и (пере)продажей не просто какого-либо товара, а именно водки, крепких спиртных напитков. Справедливости ради укажем, что в американском английском у слова *bootleg* (*botlegging*, *bootlegger*) развилось, на базе “алкогольного”, также расширительное значение “тайно торговать, нелегально распространять что-л.”.

Появление нового заимствования обусловлено, в первую очередь, лингвистическими причинами: популярность водки в русской жизни

и быту едва ли стоит оспаривать, попытки же запрета или резкого ограничения, даже запрещения этого алкогольного напитка (особенно в середине 1980-х годов) возродили в памяти ближайший исторический аналог, лежащий в американской истории XX века. Сходство между Америкой 20–30-х и СССР конца 1980-х годов было немалое: рост самогонарения, преступность, появление мафиозных и рэкетирских группировок, контрабандная транспортировка алкоголя, массовое отравление суррогатами и т.п. Все это в американской истории уже было.

Однако в данном случае внелингвистическое (экстралингвистическое) и языковое (лингвистическое) идут рука об руку. Так, язык быстро отреагировал на новейшее заимствование его бурным словопроизводством, используя арсенал русского словообразования. В семантическом же отношении *бутлегер* оказался “встроенным” в систему наиболее близких ему обозначений: *контрабандист* (тот, кто нелегально доставляет запрещенные товары) – *самогонщик* (тот, кто нелегально изготавливает, производит алкоголь и/или перепродает его) – *перекупщик* (лицо-посредник в этой цепочке купли-продажи) – *спекулянт* (тот, кто перепродает товар с целью получения барыша). В этой цепочке у всех слов есть общий смысловой компонент “тот, кто связан с незаконным, нелегальным продуктом или товаром”.

Важно, однако, выяснить разницу и смысловые точки соприкосновения в них. Из этой цепочки русское обозначение *самогонщик* ближе всего соответствует *бутлегеру* по типу продаваемого товара (продукта) – *водка, спиртные напитки*, однако разница в том, что в значении слова *самогонщик* семантический элемент “перепродажа (водки, самогона)” оказывается факультативным, побочным, дополнительным (самогонщик может производить спиртное только для себя); в слове же *бутлегер* компонент “перепродажа с целью наживы” выступает на первом плане, оказывается ведущим, профилирующим, номинативно значимым. *Перекупщик, спекулянт* связаны с перепродажей любого товара; водка, спиртные напитки – всего лишь часть “бизнеса” таких дельцов; отличия об *бутлегера* также очевидны. *Контрабандист* тоже лишь частично соответствует по смыслу *бутлегеру*; впрочем, их сближает сема “тайная, нелегальная перевозка, транспортировка груза”. Таким образом, в современном языковом пространстве эти слова оказываются частичными синонимами, что обусловлено разницей их денотативного (понятийного) содержания.

Этот смысловой “зазор” между сопряженными понятиями “незаконный”, “связанный с (пере)продажей”, “связанный с водкой или крепкими спиртными напитками”, современное сознание пытается заполнить и “ищет” способы лексического именованья, номинации возникшей семантической лакуны. Выбор пал на американизм *бутлегер*, поскольку это понятие синтезирует в своей семантике те смысловые компоненты, которые оказываются рассредоточенными, диффузны-

ми в структуре названных слов. В этой связи любопытно привести характерное журналистское высказывание: “На утро 20 февраля у 35-летнего бутлегера Михаила М. была запланирована сделка. Сам Михаил себя бутлегером не считает, но как еще назвать человека, единственное занятие которого – перепродажа спирта и фальсифицированной водки?” (Богатей. 2002. 28 февр.). Здесь представлены две точки зрения на одно и то же: внешняя (журналистская) позиция основывается на семантических долях “спирт, фальсифицированная водка”, “незаконная махинация”; внутренняя (самого субъекта) точка зрения базируется только на семах “финансовая, коммерческая операция”, “(перепродажа)” (оба понятия для него – без негативного смысла).

Итак, с одной стороны, слово *бутлегер* проходит в русском языке стадию дифференциации от своих смысловых “собратьев”-синонимов, с другой стороны, оно оказывается под действием их оценок. Негативный ассоциативный шлейф, тянущийся в русском языке за словами *спекулянт, контрабандист, самогонщик, перекупщик*, оказывается таким сильным, что “захватывает” и новое обозначение. Именно этим вызван отказ некоего Михаила М. от самоименования *бутлегер*: слишком негативно окрашенным оказывается для него это внешне привлекательное иностранное понятие – оно даже как будто “тянет” на название профессии, однако окраска все-таки “побеждает” семантику.

В русском языке происходит еще один интересный семантический процесс: у относительного прилагательного *бутлегерский* наметилось новое употребление “направленный на борьбу с бутлегерами, бутлегерством”: “доблестная бутлегерская служба не так уж трудна и фактически совсем не опасна”; «Со дня на день ожидаем, когда Президент подпишет Указ “Об учреждении Федеральной бутлегерской службы”» (из газет). В слове начинается развитие энантиосемии: в пределах одной графической формы совмещаются два противоположных использования. Причина этого кроется как в грамматической семантике относительного прилагательного, так и “давлении лексической системы”. Грамматическое значение суффикса *-ск*, обозначающего предельно общую категорию отношений – “связанный с бутлегерами, бутлегерством”.

В современном языке особую активность получили номинации по модели “относительное прилагательное + служба”: *иммиграционная служба, налоговая служба, разведывательная служба, служба доверия, служба занятости, служба трудоустройства, служба телохранителей* и под. Притяжение, “втягивание” прилагательного *бутлегерский* в смысловое поле этой модели изменяет, трансформирует грамматическую семантику относительного прилагательного. Происходит процесс своеобразного “семантического и синтаксического заражения” слова, оно утрачивает “чистую грамматическую относи-

тельность” и переподчиняется для выражения новой семантики, даже если она несвойственна суффиксу *-ск*. Теперь прилагательное *бутлегерский* уже может интерпретироваться в современном узусе двояко: 1. “исходящий от бутлегеров, связанный с их деятельностью” (ср. *секретарь* > *секретарский*, *учитель* > *учительский*) и 2. “занимающийся бутлегерами, расследованием их деятельности (о службе, ведомстве)”. Расширенное толкование чрезвычайно важно для понимания сути происходящих семантико-грамматических процессов: оно показывает лексически (синтаксически) обусловленный характер нового употребления. Это значение еще слишком “привязано” к модельным аналогам и не составляет собственного грамматического содержания, однако сам факт таких семантико-грамматических модификаций – показатель неустойчивости, открытости, взаимопроникновения лексических, синтаксических и словообразовательных связей, нитей слова.

Итак, производное прилагательное *бутлегерский* находится на распутье: его языковое положение можно уподобить “лебедю, раку и щуке”: его “тянут” на себя и грамматика (словообразовательная семантика), и синтаксис (модели с существительным *служба*), и лексика. Перед нами достаточно редкий языковой феномен рождения внутрисловной антонимии, это динамически развивающийся процесс, который проходит на наших глазах. Станет ли фраза *бутлегерская служба* термином в русской семантической системе, иначе – подчинит ли, “переборет” ли модельность аналогов (со словом *служба*) грамматическую семантику суффикса *-ск*? Перерастет ли это контекстуальное употребление в устойчивое значение? – на все эти языковые вопросы ответ даст время.

Санкт-Петербург

## Деревянный рубль

И. В. ФЕДОРОВА

В рассуждениях об отечественной валюте зачастую встречаются ядовитые указания на материал изготовления рубля. Будто бы он из дерева. Лет десять назад термин *деревянный* стал чаще употребляться применительно к проблемам финансов, чем к ресурсам русского леса. Попробуем разобраться, откуда взялось словосочетание *деревянный рубль*.

Вначале рубль представлял собой деревянную заклепку. Нечто вроде пробки-затычки, которыми и по сей день закупоривают деревянные бочки. Первое упоминание в русской письменности обнаруживаем в “Повести временных лет” под 6579 (1071) годом: “И повеле Ян вложить рубль в уста има”. Таким образом расправлялся киевский воевода Ян Вышатич с неплательщиками дани. Но первое обнаруженное значение слова было далеко не единственным. В Древней Руси рубль был не только заклепкой, и не только деревянной.

Древнейшее упоминание рубля как средства платежа содержится в берестяной грамоте, датированной 1281–1299 годами.

В новгородских письмах на березовой коре встречаются упоминания о деньгах неоднократно. Правда, основной денежной единицей был тогда не рубль, а *куна*. Уже в те времена большая часть переписки на древнерусском языке касалась хозяйственных расчетов.

Вызывает только удивление многовековая жесткая зависимость человека от рубля. Так, у лежащего на смертном одре рублевые долги соседа не выходят из головы, о чем он с помощью писала сообщает: “Во имя отца и сына и святого духа. Се аз, раб божий Михаль, отходя живота своего, пишу рукописание при своем животе, что ми Кобилькеи 2 рубля ведати...”. Это мы привели пример из берестяной грамоты, датированной XIV веком. Но в ней, как и в других, более поздних памятниках, идет речь уже не о заклепках, а о серебряных слитках. Не о деревянных, а о серебряных палочках.

Деньги, сырьем для изготовления которых являлась древесина, выпускали еще в империи Чингисхана.

Шли столетия, но в России развивалось и совершенствовалось только монетное ремесло...

Купцы на базарах рассказывали об азиатских деньгах и их производстве. О способе изготовления китайцами денег из коры тутовых деревьев впервые поведал Марко Поло.

Русские издания, описывающие экономические системы зарубежных стран, также упоминают об использовании денег из коры деревьев: “Денги у них из деревянных кор, на тех корах выпечатано имя царское и клеймо” (Книга глаголемая Козмография. 1670 г.).

Для насмешливого и негативного отношения к деревянной валюте был дан повод во время царствования Петра Великого. Это произошло после одного из эпизодов Северной войны. Первым, кто серьезно подал идею изготавливать российские деньги из дерева был заводчик Д. Воронов. Обескураженный ухудшением финансового состояния страны в ходе войны со шведами наш патриот предложил поправить дело путем ввода в обращение “деревянных друкованных [т.е. изготовленных типографским способом. – И.Ф.] замес” на общую сумму 5 миллионов рублей. Реформатор предполагал, что подобный переход с металла на дерево даст толчок производству и торговле. Ну, а когда экономика нормализуется, планировалось изъять древесные заменители монет. Все 5 миллионов деревянных рублей предполагалось поменять со временем на “настоящие”, “добрые” деньги, которые на тот момент виделись только серебряными и золотыми.

Проект 1712 года сначала отложили, потом он на фоне войны стал не так актуален; в итоге был забыт и не выполнен. Однако тяга нашей экономики к *деревянному рублю* была уже обозначена, равно как и острее стала ощущаться разница между суррогатами денег и монетами из драгоценных металлов.

В России во все времена ценили серебро и золото, а в конце XIX века и в период нэпа очень дорожили конвертируемостью рубля. Конвертируемость, как ее понимали в Европе, состояла в том, что каждый владелец бумажных денег мог потребовать от центрального эмиссионного банка обменять их без всяких ограничений на определенное количество золота, цена на которое не менялась с течением времени. Поэтому в деньгах особенно подчеркивалась их изначальная связь с драгоценными металлами. В николаевской России был *золотой рубль*, а социалистические реформаторы больше всего гордились *золотым червонцем*. Через условные пропорции с золотом люди вполне конкретно чувствовали солидность и твердость рубля.

Еще Феофан Прокопович образно охарактеризовал заслуги Петра Великого: “Деревяную он обрете Россию, а сотвори златую”. Классическая русская литература XIX века пестрит указаниями на *деревянное*, как на нечто второсортное. В словаре В.И. Даля находим: *деревянная башка* – “тупая, глупая”. Ограничимся одним примером: “Сейчас начинают деревянностью попрекать: – Деревяжка ты, скажут, деревяжка! Не даром мне тебя за братом-то твоим без денег, в придачу отдали” (Лесков Н.С. Старые годы в селе Плодомасово).

В период гласности и перестройки страна особенно страдала от неконвертируемости рубля. Из-за гиперинфляции и спада экономики

это выражение с оценкой качества родной валюты стало появляться на страницах периодических изданий. *Деревянный рубль* превращался время от времени просто в *деревянный*. И в таком виде прочно осел уже не только в устной речи, но и в письменности, например, в СМИ.

Первым словарем русского языка, который занялся подобной экономической терминологией, стал “Толковый словарь современного русского языка” издания 2001 года. Он растолковал то, что все уже давно знали, но предыдущие словари боялись сообщить: “деревянный. Деревянная валюта. Деревянные деньги. Деревянный рубль. *Ирон.* (о советских или российских рублях, обладающих низкой покупательной способностью, подверженных быстрому обесцениванию в связи с инфляцией)”.

В истории происхождения эпитета *деревянный* сказалась российская склонность к самобичеванию. Выражение *деревянный рубль* стало крылатым.

*Воронеж*

## **Знаки препинания в предложениях со сходной структурой**

*В. Г. ЗДАНКЕВИЧ*

Правила постановки знаков препинания при однородных членах предложения и между частями сложных предложений, в которых сообщается о перечисляемых фактах, настолько единообразны, что, усвоив правила употребления знаков препинания при однородных членах, легко научиться и пунктуационному оформлению большого пласта сложных предложений.

Сравните постановку запятой в приводимых предложениях:

1. В комнате все смотрело уютно, чисто, светло. Опустел сад, осыпались листья, наступила унылая пора. Покажет Русь, что есть в ней люди, что есть грядущее у ней.

Части сложного предложения, как и однородные члены, разделяются запятой, если они соединены бессоюзной связью.

2. Жаворонки взлетают и реют в поднебесье. По улицам мчались легковые машины и неслись троллейбусы. Откуда-то доносится крик неуснувшей птицы или раздаются какие-то тревожные звуки. Ясно было, что ветер скоро усилится и что в море будет невозможно выйти. Его выстрелы были неудачны, потому что он горячился или потому что его отвлекало мое присутствие. Когда я проснулся, было уже светло и с улицы доносился шум. Игра прекратилась и дети бросились бежать домой, так как началась гроза.

Части сложного предложения, как и однородные члены, не разделяются запятой, если они связаны одним соединительным или разделительным союзом и имеют (подобно однородным членам) общий для них элемент.

3. Вот уж и стука, и крика, и бубенцов не слышать. Каждое утро мы отправлялись то на рыбалку, то в лес по грибы. И солнце жарко грело, и трава зеленела везде, и деревья распустили свои пахучие листья. То телега проедет, то мотоцикл затарахтит. Стало страшно и когда в одну минуту дорогу занесло, и когда окрестность исчезла во мгле мутной, и когда небо слилось с землей. По улицам мчались легковые машины, и неслись троллейбусы, и куда-то спешили пешеходы.

Части сложного предложения, как и однородные члены, разделяются запятой, если они связаны повторяющимся соединительным или разделительным союзом (даже при наличии у них общего элемента).

4. В лесу мы собирали грибы, ягоды, и орехи, и лечебные травы. Молодые листья что-то лепетали, и зяблики кое-где пели, и две гор-



линки ворковали. Я увидел, что звезды стали туманиться, и что они теряют свою лучистость, и что в небе поплыли темные облака.

Между всеми однородными компонентами предложения ставятся запятые и в тех случаях, когда только часть из них соединяется повторяющимся союзом.

Сравните постановку двоеточия и тире в приводимых предложениях:

1. Все кругом побагровело: деревья, травы, земля. В корзине лежали разные фрукты: яблоки, груши, сливы.

Обобщающее слово или словосочетание стоит перед однородными членами.

Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями. Скажи своему брату вот что: чтобы он перестал пропускать тренировки.

В бессоюзном сложном предложении, как и в предложениях с однородными членами, ставится двоеточие, когда первая часть высказывания лишена достаточной информативной полноты, а вторая часть содержит необходимое разъяснение.

2. Затуманенный лес, озеро, небо – все было серое. Вечно зеленющие кедры и сосны – краса лесов в нашем крае.

Обобщающее слово или словосочетание здесь стоит после однородных членов.

Охотник спустил курок – выстрела не последовало. Дунул ветер – все дрогнуло и ожило. Шестнадцать лет служу – такого со мной не бывало. На улице проливной дождь – выйти невозможно.

В бессоюзном сложном предложении ставится тире, как и после однородных членов перед обобщающими словами, в местах распада предложения на две словесные группы для уточнения смысловых отношений между ними. Тире в бессоюзном сложном предложении ставится перед второй частью, когда она указывает на неожиданную или быструю смену событий, или если она содержит противопоставление, или заключает следствие, вывод из того, о чем говорится в первой части.

Встретимся – расскажу тебе обо всем пережитом. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. Будешь заниматься спортом – укрепишь свое здоровье.

Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время или условие действия, о котором говорится во второй части.

Полезно учитывать, что там, где употребляется тире, присутствует заметный переход в словесных группах от интонационного повышения к понижению.



В. М. ИСТРИН. Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (XI–XIII вв.)

С большим удовольствием воспользовался случаем и перечитал страницы, когда-то поразившие меня лаконичным изяществом изложения труднейших тем – описания литературных текстов домонгольской поры в истории восточнославянской литературы. От такого чтения получаешь эстетическое удовольствие, что немаловажно при первом чтении, когда только приступаешь к изучению предмета, а именно это и важно для первокурсника. В сравнении с другими учебными пособиями (например, с книгой Гудзия) эта работа только выигрывает. “Очерк” Истрина написан университетским профессором, влюбленным в свое дело и задавшимся целью показать свой предмет в идеально высоком смысле, т.е. как исток в развитии национальной ментальности до момента, когда внешние причины временно оборвали органическое ее развитие. Со стороны Истрина это не просто учебное пособие, а исполнение патриотического долга русского человека в эпоху нового культурного безвременья (1922), напоминание о возможном будущем. Очень актуально и для нынешнего культурного безвременья.

Как и всякий гениальный текст, эта книга несет большой запас воспитательной силы; она показывает, как еще в самых зачатках нашей истории литература как общественный фактор “служила выражению исторического движения мысли”. Умелый подбор подлежа-

щих обязательному изучению источников поражает стопроцентным попаданием в точность реального объема домонгольской литературы. Именно она и сохранилась в веках. Для поверхностного читателя замечу: это значит, что идеология русского сознания и русская культура хранят национальную традицию в ее доминантных структурах неизменной в веках. Все темы, идеи и проблемы XI века, развиваясь в сложнейших условиях социальной жизни, остаются все теми же, откликаясь на камертон “Слова о законе и благодати”. Это может нравиться или не нравиться, но это наша история, и ее следует уважать. Думаю, внутреннее неприятие этого текста со стороны некоторых наших современников (он не переиздавался в СССР и в России) объясняется именно этим. Этим, а также и тем, что здесь дано описание литературы объемно, умно и доходчиво в логической последовательности изложения. Это именно учебное пособие к первоначальному ознакомлению с предметом.

Отрадно заметить, что современное издание классического труда В.М. Истрина (М., Издательский центр “Академия”, 2003) интересно еще и тем, что по сравнению с предыдущим здесь исправлены многочисленные опечатки и погрешности текста, введена дополнительная литература для самостоятельного изучения предмета; в книге содержатся также редкие иллюстрации из сюжетов древнерусской истории, описанных у В.М. Истрина, что позволяет наглядно “проходить” все эти этапы, почувствовать себя как бы участником тех далеких событий. Кроме этого – что весьма существенно – книгу сопровождают вступительный очерк составителя и редактора издания О.В. Никитина, рассказывающий о месте труда В.М. Истрина в *современной* проблематике предмета, и в заключительной части – биографическая статья о самом ученом с редкими архивными материалами и свидетельствами. Книга также снабжена комментариями специалиста, доктора филологических наук Н.В. Трофимовой, которая грамотно и корректно раскрыла отдельные фрагменты учебника В.М. Истрина и сделала многие фактические уточнения. Все это придает книге не только современный вид, но и актуальное, достойное звучание.

Напомню, что многие вопросы, затронутые в этой книге, впоследствии именно в данной интерпретации были использованы в изучении древнерусской литературы, например, в академической “Истории русской литературы”: хронология, деление по периодам, особое внимание к форме – к языку и стилю древнерусских текстов, к описанию исторической атмосферы, в которой тексты появились, к соотношению оригинальной и переводной литературы и т.д. Эта книга стала исходной точкой современных интерпретаций литературного процесса Древней Руси в его описании как *органического развития* культурных потенций народа.

Иногда удивляет слишком обширное “Введение” книги. Это удивление удивляет тоже. Истрин задумал общий курс, доводящий изло-

жение до XVII века, но ему не пришлось завершить работу. В 1922 году были высланы его коллеги по университету и академии, жизнь изменяла свой тонус. “Введение” показало проблему и путь, которым следует идти: изучать литературу в связи с историей народа и его языка, в конфронтации с инородными культурными влияниями и в связи с духовными поисками того времени (византийское влияние как внешняя форма происходящей тогда ментализации) и т.д. Далее следовали очерки, посвященные отдельным памятникам. Мысль О.В. Никитина восполнить текст “Очерка” некоторыми добавлениями и особенно очерком Истрина о литературе XVII века очень продуктивна: тем самым показан рубеж и результат, которого достигло бы полное исполнение замысла. Но и в данном виде “Очерк” является законченным в своей полноте и цельности текстом. Необходимость Приложений мотивирована вполне; намечена перспектива развития литературного процесса вплоть до петровских времен (очерк о XVII в.) и его народных основ (очерк о Данииле).

Наконец, важно соединение трех составляющих научного исследования в описываемой области. Истрин счастливо их все соединяет: текстологическую проработку источника, истолкование литературного текста и описание формы – прежде всего, языка. Это классическое русское направление в исследовании средневековых текстов (и не только их), ныне, к сожалению, утраченное по причине производственного деления академических учреждений на языковедение, литературу и историю.

Исключительным достоинством книги является описание памятников в исторических событиях своего времени, т.е. конкретно, а не типологически (основная болезнь нынешних трудов, в бесполезных перечнях показанных в прилагаемой литературе), продуктивны напоминания о языке памятников – опять-таки на фоне современных *типологических* изысканий на тему (диглоссия и прочие причуды кабинетных умов); и т.д.

Не знаю, имею ли я право высказать некоторые замечания к этому объемному и тяжелому труду, который осуществили издатели текста. Мне кажется, что в современных условиях длиннота разделов слишком велика для вдумчивого вчитывания; я предложил бы в дальнейшем некоторые обширные очерки разбить на параграфы, нумеруя их в квадратных скобках и не давая в подзаголовках, потому что границы параграфов легко определяются начальными словами некоторых абзацев, начинающих новую мысль. Эти параграфы не должны быть слишком частыми – ибо текст Истрина *приволен и дышит* простотой. Его не следует сжимать в тесные границы мелких параграфов.

Разумеется, важно и необходимо пополнить книгу указаниями на новую литературу по данной тематике, взяв новую библиографию в квадратные скобки: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных

путях. М., 2001; Мильков В.В. Древнерусские апокрифы, М., 2001; Громов М.Н., Мильков В.В. Идейные течения древнерусской мысли. М., 2000; Рогачевская Е.Б. Цикл молитв Кирилла Туровского. М., 1999; первый том книги В.Н. Топорова “Святость и святыя в русской духовной культуре”. М., 1995; сборник (Мильков В.В. и др.) “Древняя Русь: пересечение традиций”. М., 1997; Фроянов И.Я. Начала русской истории. СПб., 2001 и др.

Это конечно, не все возможные добавления, но ведь вообще проблема библиографии должна оставаться на усмотрение издателя, которому почти каждый может что-то указать по этой части. Например, добавлю: неплохо было бы указать и зарубежных авторов, причем не обязательно на недоступных читателю иноземных языках, а уже переведенные на русский язык и изданные. Так, вполне справедливым считаем включение в библиографический список трудов, излагающих в том числе и предвзятые точки зрения на те же факты и события (“Икона и топор” Дж. Биллингтона. М., 2001) или на действительно научные труды зарубежных ученых (например, сборник статей Людольфа Мюллера “Понять Россию”. М., 2000). Сделать это – значит вписать труд В.М. Истрина в контекст современных проблем и изысканий на самом высоком теоретическом уровне.

В заключение хотим заметить, что данное издание классического труда В.М. Истрина по древнерусской литературе стало, бесспорно, событием в научной и учебной жизни России и предоставляет нынешним читателям редкую возможность соприкосновения с подлинными шедеврами русской дореволюционной школы, которые обретают таким образом второе дыхание.

**В.В. Колесов** ©,  
доктор филологических наук,  
*Санкт-Петербург*



А. М. КАМЧАТНОВ, Н. А. НИКОЛИНА. Введение  
в языкознание

В теоретической и практической подготовке современного учителя, специалиста в области филологических наук, особое место занимают вводные курсы, знакомящие слушателей с широким спектром проблем, решение которых и будет составлять главную задачу всех последующих лет обучения.

В современной вузовской практике мы знаем немало учебных пособий такого типа: одни из них, по идеологическим обстоятельствам становятся с годами непригодными, другие – постепенно устаревают. Изменяются ориентиры и приоритеты науки “сегодняшнего дня” – меняется и состав и структура таких пособий. Но все же для авторов книг один принцип должен оставаться неизменным: более или менее объективное и беспристрастное изложение материала в доступной и грамотной форме, отвечающее реальному положению вещей в той или иной отрасли знаний. В языкознании, как известно, таким классическим учебником стала книга А.А. Реформатского, выдержавшая не одно издание; обновленная и теперь она является неотъемлемой частью в вузовской подготовке специалистов-филологов.

Есть, однако, одна сфера человеческой жизнедеятельности, которая в очень незначительной форме была “допущена” в *практическую* филологию (а учебник, естественно, прежде всего имеет такую цель). Авторы этой книги: доктор филологических наук, профессор кафедры общего языкознания Московского педагогического государственного университета имени В.И. Ленина А.М. Камчатнов и кандидат филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка того же вуза Н.А. Николина во Введении к книге в дискуссионной форме так формулируют эту закономерность: “Только обыватель знает, что такое язык. Всякий же, кто занимается изучением языка более или менее основательно, понимает, что язык есть тайна. Однако из признания того, что язык есть тайна, вовсе не следует, что об этой тайне нам нечего сказать. Напротив, чем глубже тайна, тем больше о ней нужно говорить; можно сказать, что сама тайна говорит из себя о себе, выносит из своей глубины на поверхность мысли все новые и новые свои определения”.

Здесь, пожалуй, наиболее рельефно выступает та сфера человеческого общежития, которая была хорошо понятна ученым старой академической школы (в одной из рукописей Н.М. Каринского запомнилась такая мысль: “Язык есть дар Божий...” – так начинался труд по введению в языковедение известного исследователя). Вот и авторы этого пособия следуют почти утерянной ныне традиции *реального* восприятия языка, не материалистически воинствующего, а *духовно-го, исторического*. Поэтому мы горячо поддерживаем высказанную ими основную идею книги, а значит, и курса лекций: “Авторы настоящего пособия дерзнули рассказать о языке с позиций реализма; основные положения книги основаны на идеях православного энергетизма, развитых применительно к языку в трудах названных философов (К.С. Аксакова, А.А. Потебни, о. Павла Флоренского, А.Ф. Лосева и других. – *О.Н.*). Насколько нам известно, попыток построить учебный курс на основе этого комплекса идей ранее никем не предпринималось...” (С. 4). И это действительно так с одной лишь оговоркой: в советское время. В дореволюционный период подобные попытки были, и их опыт весьма ценен. Так, например, в моей библиотеке среди редких изданий есть и такое: Введение в языковедение. Пособие к лекциям В. Поржезинского. Изд. 4-е. М., 1916. Главу VI своей книги автор озаглавил так: “Знаки языка как факты духовной деятельности”.

Структура рецензируемого издания в основе своей традиционна. Вначале А.М. Камчатнов и Н.А. Николина рассматривают фонетику и фонологию (глава I), на наш взгляд, впрочем, довольно кратко, может быть, даже более сжато, чем требует того университетский курс. Но в этой части освещены все основные свойства звуков речи, даны определения наиболее важным терминам, приведены удачные примеры и иллюстрации. Очень важно, что авторы представляют не только свое видение предмета, но и дают широкий спектр взглядов крупных ученых на обсуждаемую проблематику (это касается и других глав). Так, объясняя психофизические свойства звуков речи, они ссылаются на работу Н.И. Жинкина, считавшего, что “у каждого звука есть свой порог ударности” (С. 12). Объясняя функциональную сторону звука, авторы обращаются к одной из работ Р.О. Якобсона, который, как известно, не один из своих трудов посвятил “акустическим впечатлениям”. Таким образом, некоторая краткость изложения этой части восполняется интересными сопоставлениями и, что особенно важно для студентов, только вступающих в мир большой науки, – новыми именами.

Вторая глава книги “Лексикология: философия имени” обращает читателя к проблеме смысла, именования, логической структуры слова. Философский аспект лексикологии авторы удачно совмещают с лингвистическими концепциями слова и смысла, представляя взгляды

корифеев научной мысли: Ф. де Соссюра, А.А. Потебни, С.Н. Булгакова, А.Ф. Лосева, Ю.С. Степанова и других.

Третья глава “Морфемика и словообразование” дает онтологическую интерпретацию понятия морфемы (что ново для стабильных учебников по данному курсу), рассказывает об исторических процессах в морфемной структуре слова. Это последнее весьма существенно для понимания языка в его диахроническом развитии и установления живой связи единиц одной системы. Здесь же авторы характеризуют способы словообразования и обосновывают понятие словообразовательного типа. Подробно и грамотно, с привлечением разнообразных примеров ученые рассказывают как о широко известных аффиксальных способах, так и о более редких, например, о конверсии или сращении с суффиксацией (пример: *немогузнайка*).

Последующие главы книги также, на наш взгляд, привлекут внимание читателей и исследователей: “Грамматика”, “Структурная типология языков”, “Дифференциация языка” и “Языковое родство”. Мы не станем подробно останавливаться на их разборе. Скажем только, что здесь даются основные понятия, их определение и функции. Причем всякий раз при обсуждении с читателем спорных вопросов, не имеющих однозначного понимания и трактовки в науке, авторы предлагают целый ряд оценок (как, например, в области теории и истории частей речи), кратко обозначая характер позиции того или иного ученого. Впервые в регулярном курсе здесь активно используется опыт философии грамматики: от идей Агустина Аврелия до С.Н. Булгакова и А.Ф. Лосева.

Хорошо продуман библиографический аппарат книги. После каждой главы авторы дают список литературы – как доступной, известной, так и редкой. Примечательно, что ученые старались представить труды не одного поколения исследователей, относящихся к разным школам. Это, на наш взгляд, позволит читателям *самостоятельно* “обрабатывать” теорию вопроса, находить и объяснять многие спорные проблемы, приобретая собственный багаж знаний.

Думаем, что в дальнейшем было бы очень удачно использовать в построении курса неизвестные архивные данные, извлеченные из фондов русских и советских ученых (Архива РАН). Их разработки, особенно по введению в языкознание и общелингвистическим курсам, оставшиеся незаконченными или неопубликованными в свое время, помогли бы и современным исследователям и педагогам-практикам “освежить” методологию, обогатили бы опыт редкими эпизодами лингвистической истории, оригинальными примерами и сравнениями.

Другое наше пожелание касается собственно иллюстративной части. Ведь учебник – это книга для чтения человеком, только вступающим в мир большой науки и порой воспринимающим его не путем изучения сложных теоретических вопросов, часто отталкивающих, а с

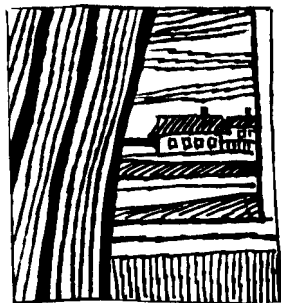


помощью иных “сенсоров”. В этой связи полагаем, что было бы весьма уместно ввести в будущее издание фотографии выдающихся ученых, фрагменты их трудов. Это, возможно, приблизило бы учащихся к самому предмету языкознания, который нередко воспринимается как “зазубривание теории”, а на самом деле (и авторы данного пособия это хорошо показали) является одной из интереснейших дисциплин филологического цикла.

Мы считали бы также целесообразным поместить небольшой словарь лингвистических терминов (в объеме представленного в книге материала). Хотя известны многочисленные справочники, но часто они остаются малодоступными, а теперь еще, по причине дороговизны, не каждый студент может иметь такую книгу в домашней библиотеке. Да и толкование терминов в энциклопедиях бывает очень “мудреным”, рассчитанным уже на подготовленного читателя. Здесь же вполне можно было бы ограничиться краткими справками. Полагаем, что такой словарь в известной мере оказался бы хорошим подспорьем в лингвистической практике студентов.

Стоит отметить как положительный факт, что учебное пособие А.М. Камчатнова и Н.А. Николиной за небольшой период выдержало уже четыре (!) издания (1-е изд. – М.: Флинта: Наука, 1999; 4-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2002), а значит, получило не только известность в среде студентов и преподавателей, но и апробацию во многих вузах как одно из оригинальных авторских пособий, по-своему, но в рамках сложившейся традиции преподающего тайну слова путем научного изучения и осмысления языка.

**О. В. Никитин ©**



### **Живое слово и жизнь**

Архангельским говорам повезло: их изучали и изучают уже более столетия, начиная с А.О. Подвысоцкого, автора первого архангельского диалектного словаря (1885), хотя интерес к местной лексике начал проявляться уже в начале девятнадцатого века. На материале архангельских говоров апробируются новые направления изучения диалектной лексики. В качестве примеров можно указать на “Архангельский областной словарь”, выпускаемый издательством МГУ под редакцией О.Г. Гецовой, на один из первых региональных атласов – “Лексический атлас Архангельской области” (Архангельск, 1994) Л.П. Комягиной, на многочисленные сборники, научные статьи, конференции. Среди ученых-диалектологов, изучавших архангельскую лексику, был и доктор филологических наук, профессор Виктор Яковлевич Дерягин (1937–1994), памяти которого посвящен сборник “Живое слово и жизнь”, выпущенный издательством Поморского государственного университета (Архангельск, 2002).

Сборник состоит из четырех разделов. В первом, мемориальном, помещена биография В.Я. Дерягина, список его научных трудов, воспоминания о нем его коллег и товарищей А.С. Герда, Л.П. Комягиной, Р.В. Железновой, Л.И. Скворцова. На страницах этих воспоминаний вырисовывается образ ученого с широким творческим диапазоном: ученый-диалектолог, историк языка, популяризатор науки о русском языке, один из авторов передачи “В мире слов” на Всесоюзном радио, ответственный секретарь журнала “Русская речь” в первые годы его существования (1967–1972). Три остальных раздела соответствуют основным научным интересам В.Я. Дерягина: во втором разделе рассматриваются проблемы диалектологии и лингвистической географии (статьи Л.П. Комягиной, А.Ф. Войтенко, Н.В. Волковой, Е.Н. Шабровой, Н.В. Самородовой, Е.В. Первухиной, А.В. Петрова). Следующий, третий раздел посвящен проблемам исторической

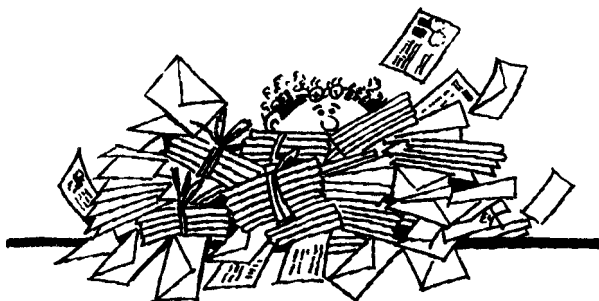
лексикологии и текстологии памятников письменности. Здесь особый интерес представляют статьи И.Г. Добродомова и И.А. Пильщикова о слове *облучок*, Ю.И. Чайкиной, Е.А. Чащиной, О.В. Никитина и других исследователей. Четвертая, последняя часть сборника посвящена еще одному важному направлению творческих интересов ученого – вопросам культуры речи и стилистики, поскольку Виктор Яковлевич в соавторстве с Л.И. Скворцовым и З.Н. Люстровой выпустил несколько книг на эти темы.

Немалая часть жизни и деятельности В.Я. Дерягина прошла в Институте русского языка АН СССР (ныне РАН), где он принял активное участие в фундаментальном, продолжающемся и в настоящее время научном издании – “Словаре русского языка XI–XVII вв.” (им написано около 800 статей), здесь в 1981 году им была защищена докторская диссертация “Русская деловая речь на Севере в XV–XVII вв.”, где впервые были исследованы многие памятники местной деловой письменности, в частности, важские.

Всю жизнь В.Я. Дерягин был связан с архангельской землей, которую, по его собственным словам, он исходил пешком в студенческие и аспирантские годы. По его инициативе в 1993 году в Поморском университете были созданы кафедра истории русского языка и диалектологии, лаборатория археографии и диалектологии, открыто отделение лингвистического краеведения. Он участвовал в разработке документации по созданию Кенозерского национального парка, был одним из авторов словаря “Топонимика Кенозерья”.

Сборник “Живое слово и жизнь” – прекрасная память о замечательном лингвисте.

**В.Г. Долгушев ©,**  
кандидат филологических наук,  
*Киров*



## Возвращаясь к напечатанному

Г. Ф. КОВАЛЕВ,

профессор Воронежского государственного университета

В № 1, 2003 года в журнале “Русская речь” был помещен материал Л.И. Маршевой “Липецкие планы”. Хотелось бы уточнить некоторые положения, выдвинутые автором.

В микротопонимии Воронежской области также встречается термин, как будто необычный для русского селянина – *плант*. Это слово может означать часть села (*Плант* – окраина, часть села Дерезовка Верхне-мамонского р-на). Гораздо чаще этот термин встречается для обозначения улицы. В селе Платава Репьевского района вообще почти все улицы называются *плантами*: Обливановка, Митрофановка, Байкал, Безводная и даже такие номинанты, как Дубовой Хутор, Романов Хутор, Собачий Хутор, Средний Хутор. Слово *плант* может входить в состав имени-композита: *Верхний Плант* – неофициальное название части улицы Советской.

Л.И. Маршева считает, что слово *плант* пришло в русскую деревню через посредство слова *план* (чертеж, проект и т.д.), заимствованного из западноевропейских языков (она приводит примеры из английского, французского и немецкого языков). Есть это слово и у В.И. Даля, он определяет слово *план* прежде всего как “плоскость; плоский чертеж, изображение предмета на плоскости без перспективы; по прямому масштабу” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. III).

М. Фасмер полагал, что слово *план* (народное “плант”), «возм., заимств. через польск. *plan* или нем. *Plan* (...) из франц. *plan* от лат. *planta* “подошва, очертание» (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987. Т. III).

Однако вряд ли употребление слова *плант* в качестве термина, обозначающего улицу или часть села, связано с тем, что расположе-

ние улиц и частей села представляют собой некий “план”, “чертеж”, “изображение на плоскости”.

Скорее всего этот термин пришел на земли Центрального Черноземья через посредство двух языков: украинского и польского. Самые знаменитые планты находятся в старинном польском городе Кракове. Сейчас это уже не улица, а бульварное кольцо *Planty*. В современном польском языке мы имеем следующие значения слова *plant*: “железнодорожное полотно, бульвар” (Большой польско-русский словарь. М. – Варшава, 1980). Именно отсюда и корни черноземных *плантов*, которые ничего общего с *планами* не имеют. Поляки занесли это название на Украину, а украинские переселенцы закрепили этот термин в Черноземье. Поэтому-то и не нашла Л.И. Маршева термин *плант* в самом полном справочнике топографической апеллятивной лексики, каковым является “Словарь народных географических терминов” Э.М. Мурзаева.